

Роберт Стивенсон

Берег Фалеза



Вечерние беседы на острове

Роберт Льюис Стивенсон

Берег Фалеза

«Public Domain»

1892

Стивенсон Р.

Берег Фалеза / Р. Стивенсон — «Public Domain»,
1892 — (Вечерние беседы на острове)

«Был ни день ни ночь, когда я в первый раз увидел этот остров. Луна уже склонялась к закату, хотя еще светила, а на востоке, румянном от зари, бриллиантом сверкало дневное светило. В лицо пахнул береговой ветер, принесший с собою аромат лимона и ванили и другие более обыкновенные запахи. Свежий ветер заставил меня чихать. Надо вам сказать, что я несколько лет жил среди туземцев на одном небольшом пограничном островке. Тут мне предстоял новый опыт, так как язык был для меня совершенно чуждым. Вид этих лесов, гор и необыкновенный запах обновили мою кровь...»

© Стивенсон Р., 1892

© Public Domain, 1892

Содержание

Глава I	6
Глава II	12
Глава III	23
Глава IV	29
Глава V	38

Роберт Стивенсон

Берег Фалеза

* * *

Глава I

Океанийская свадьба

Был ни день ни ночь, когда я в первый раз увидел этот остров. Луна уже склонялась к закату, хотя еще светила, а на востоке, румяном от зари, бриллиантом сверкало дневное светило. В лицо пахнул береговой ветер, принесший с собою аромат лимона и ванили и другие более обыкновенные запахи. Свежий ветер заставил меня чихать.

Надо вам сказать, что я несколько лет жил среди туземцев на одном небольшом пограничном острове. Тут мне предстоял новый опыт, так как язык был для меня совершенно чуждым. Вид этих лесов, гор и необыкновенный запах обновили мою кровь.

Капитан потушил компасную лампу.

– Смотрите, мистер Уильтшайр, – сказал он. – Видите за прогалиной рифа струйку дыма? Это и есть Фалеза, последнее населенное место к востоку. С подветренной стороны почему-то никто не живет. Возьмите трубу и в нее вы можете разглядеть дома.

Я взял трубу и на приблизившемся берегу увидел ряд лесов, бреши прибое, коричневые кровли и темные внутренние пространства домов, видневшиеся между деревьями.

– Видите белый кусочек на востоке? – продолжал капитан. – Это и есть ваш дом. Коралловая постройка стоит высоко, с трех сторон окружена верандой, по которой можете гулять сколько угодно. Лучшее место на Тихом океане. Старик Адамс, увидя его, пожал мне руку. «В приятное, – говорит, – дело я вступаю». – «Пора», – ответил я ему. Бедняга Джонни! После того я видел его только один раз, но он уже изменил свое мнение, не ладил ни с темнокожими, ни с белыми, а при следующем нашем приезде я уже не застал его в живых. Я поставил на его могиле шест с надписью: «Джон Адамс. Скончался в 1868 году. Иди и поступай также». Жаль мне было этого человека. Я не находил его дурным.

– От чего он умер? – осведомился я.

– От какой-то внезапно свалившей его болезни, – сказал капитан. – Он, кажется, встал ночью и надулся «Утоли печали» и «Изобретения Кеннеди». Но это не подействовало: он был выше Кеннеди. Открыл бочонок джина – не действует, крепости мало. После этого он выбежал на веранду и, должно быть, наткнулся на перила и упал. На другой день его нашли совсем помешанным. Он все время бормотал, что кто-то подмочил его копру¹. Бедняга Джонни!

– Не остров ли был причиной болезни? – спросил я.

– И остров, и тревога, и другая причина, говорили разное. Но я слышал, что климат тут здоровый. Да вот, Вигур, что был здесь перед вами, ни на волос не изменился, а уехал, по его словам, потому что боялся Черного Джека и Кэза, и Свистуна Джимми, который был еще жив в то время, но вскоре утонул в пьяном виде. А капитан Рендоль живет здесь с 1840 или 1845 года. В Билли я не вижу особенной перемены. У него такой вид, что он проживет Мафусаилов век. Нет! По-моему, место здоровое.

– Вот подходит бот, – сказал я. – Прямо в проливе. Похож на шестнадцатифутовое китоловное судно. На офицерском месте двое белых.

– Это бот утонувшего Свистуна Джимми! – воскликнул капитан. – Посмотрим в трубу! Да, разумеется, это Кэз и темнокожий. Репутация у них мерзейшая, но вам известно, каким местом для разговоров является берег. По-моему, Свистун Джимми был самым худшим, а он, как видите, уже отправился в рай. Какое хотите пари, что они едут за джином? Держите пять против двух, что они возьмут шесть ящиков.

¹ Внутренние волокна кокосового ореха.

Когда оба эти торговца причалили к борту, я остался очень доволен их внешним видом или, вернее, внешностью обоих и речами одного из них. Я тосковал по белым соседям после четырехлетнего пребывания на экваторе, казавшегося мне тюремным заключением, с навлечением «табу» и хождением в Правление за снятием его, с покупкой джина и стремлением к пьянству, за которым следовало раскаяние, с сиденьем дома по вечерам в компании лампы или хождением по берегу и придумыванием, как бы выругать себя за то, что нахожусь здесь. На моем острове белых, кроме меня, не было, а на соседнем, куда я перебрался, большую часть общества составляли одни простые покупатели. Потому-то я и рад был видеть двух вновь прибывших. Один из них был негр, но оба они были в франтовских полосатых куртках, в соломенных шляпах, а Кэза так и в городе считали бы щеголем. Он был маленький, желтый, с ястребиным носом, светлыми глазами и с подстриженной бородкой. Откуда он родом, никто не знал, по разговору знали только, что он англичанин. Он, очевидно, был хорошего рода и получил превосходное образование. При этом он одарен был и талантами: играл на гармонике, а с веревкой, пробкой и колодой карт делал фокусы не хуже любого профессионала. Он при желании мог вести и салонный разговор и ругаться не хуже любого янки, и замучить своими остроумными канак. Самое выгодное, по его мнению, занятие, было всегда его занятием, и за что он бывало ни возьмется, выходит так естественно, будто он для того и создан. Он обладал мужеством льва и лукавством крысы, и если он теперь не в аду, то, значит, такого места вовсе не имеется. Я знаю единственную хорошую черту этого человека, а именно: любовь и доброе отношение к жене, уроженке Самоа, красившей волосы в красный цвет по моде женщин Самоа. Когда он умер (о чем я расскажу), у него нашли настоящее христианское завещание, по которому вдове досталась вся его собственность, все имущество негра и большая часть товара Билли Рен-Доля, потому что книги вел Кэз. Она уехала на родину на шхуне Мэнуа и хозяйничает дома до настоящего времени.

Но обо всем этом я в то первое утро знал не больше мухи. Кэз приветствовал меня как джентльмен и друг, предложил мне свои услуги, особенно необходимые ввиду моего незнакомства с туземцами. Лучшую часть дня мы просидели в каюте, выпивая за знакомство. Мне никогда не приходилось слышать человека, говорившего более метко. На островах не было более остроумного и плутоватого торговца. Фалеза представился мне самым подходящим местом, и чем больше я пил, тем легче становилось на душе. Последний торговец бежал с острова, воспользовавшись судном, шедшим с Запада. Капитан нашел дом закрытым; у туземца-пастора были ключи и письмо, в котором беглец признавался, что боялся за свою жизнь. Так как фирма осталась без представителя, то и груза, разумеется, не было. Ветер был попутный, и капитан, рассчитывающий при хорошем ходе добраться засветло до соседнего острова, ускорила выгрузку моего товара. Кэз сказал, что мне не стоит соваться с носом, что фалезцы народ честный, что вещей моих никто не тронет, разве только какие-нибудь мелочи: ножик, пачку табака; что мне самое лучшее сидеть смирно до ухода корабля, затем идти прямо к нему, повидать капитана Рендоля – отца берега, добыть съестного, и идти домой спать, когда стемнеет. Был полдень, и шхуна отправилась в путь раньше, чем я ступил на берег Фалеза.

От выпитых на борту стаканчиков вина и долгого крейсирования, почва колебалась у меня под ногами, подобно корабельной палубе. Местность была похожа на только что написанный красками ландшафт, ноги у меня шли в такт. Фалеза мог быть волшебным лугом, если таковые имеются, и жаль было бы, если б их не было. Приятно было идти по траве, видеть высокие горы, смотреть на мужчин в зеленых венках и на женщин в ярко-красных и голубых одеждах. Мы шли, одинаково наслаждаясь и ярким солнцем, и прохладой тени. Детишки с плутовскими глазами и коричневым телом бежали за нами с радостными возгласами, похожими на писк домашней птицы.

– Надо будет вам раздобыть жену, – сказал Кэз.

– Это верно, – сказал я. – Я было и забыл.

Нас окружила толпа девушек. Я остановился и стал выбирать среди них как паша. Они нарядились по случаю прихода корабля и представляли красивую картину. Если и был в них недостаток, так это излишняя ширина бедер. Я именно думал об этом, когда Кэз дотронулся до меня.

– Вот хорошенькая, – сказал он.

Я увидел девушку, идущую одиноко по другой стороне. Она ловила рыбу и была в промокшей насквозь рубашке. Она была молода и очень стройна для островитянки, с продолговатым лицом, высоким лбом и странным застенчивым, неопределенным, не то кошачьим, не то детским выражением.

– Кто это? – спросил я. – Она годится, пожалуй.

– Это Умэ, – ответил Кэз и, подозвав ее, заговорил с ней на туземном языке.

Что он ей говорил, не знаю, но она во время его речи вскинула на меня робкий взгляд, как ребенок, увертывающийся от удара, затем снова опустила глаза и улыбнулась. Рот у нее был большой, но губы и подбородок точеные, как у статуи. Улыбка появилась на мгновение и исчезла. Она стояла с опущенной головой, выслушала Кэза до конца, ответила ему приятным полинезийским говором, глядя ему прямо в глаза, затем выслушала его ответ, поклонилась и ушла. На мою долю не досталось больше ни взгляда, ни слова, ни улыбки.

– Я думаю, дело уладится, – заметил Кэз. – Вы заполучите ее. Я потолкую со старухой, и вы приобретете вашу избранницу за пачку табака, – добавил он, осклабясь.

Должно быть, ее улыбка запечатлелась в моей памяти, потому что я резко ответил:

– Она на такую вовсе не похожа.

– Не знаю, такая ли она, но думаю, что она надежна, – себя бережет, с толпой не якшается и прочее. Пожалуйста, поймите меня! Умэ выше общего уровня. – Он говорил горячо, что приятно удивило меня. – Я не говорил бы с такой уверенностью, что добуду ее, если бы она не влюбилась в очертание вашего носа. Вам остается держаться в стороне и предоставить мне устроить дело с матерью по-моему, а я уж приведу девушку к капеллану, чтобы повенчаться.

Слово «повенчаться» мне было не по душе, что я и сказал:

– Тут нет ничего страшного, – возразил Кэз. – Капелланом будет негр.

В это время мы подошли к дому этих трех белых – негр считается белым, как и китаец. Представление странное, но обычное на островах. Дом был большой, с ободранной шатающейся верандой. На лицевой стороне находились контора и магазин с мизернейшей выставкой товара: ящика два жестянок с маслом, бочонок сухарей, несколько кусков бумажной материи, которую и сравнивать с моей было нельзя. Хороша была только контрабанда, то есть оружие и спиртные напитки.

«Если это мои единственные соперники, я хорошо устроюсь в Фалезе», – подумал я. Они могли победить меня только напитками и друзьями.

В задней комнате сидел на корточках на полу старик, капитан Рендоль, жирный, бледный, голый по пояс, сивый как барсук, с неподвижными от пьянства глазами. Тело его обросло волосами и было облеплено мухами; одна сидела у него на глазу, а он даже и не замечал. Вокруг жужжали москиты. Чистоплотный человек охотно прикончил бы его и похоронил бы сразу. Вид его, мысль, что ему семьдесят лет, что он некогда командовал судном, вышел на берег франтом, говорил громкие речи в судах и консульствах, сидел на клубных верандах, мысль эта болью сжала мое сердце и отрезвила меня.

Он хотел было подняться, когда я вошел, но попытка не удалась, поэтому он просто подал мне руку и пробормотал какое-то приветствие.

– Папа здорово нагрузился нынче, – заметил Кэз. – У нас тут была эпидемия, так вот капитан Рендоль принимает джин как предупреждающее средство. Так что ли, папа?

– Никогда в жизни не принимал такой штуки! – воскликнул капитан с негодованием. – Я пью джин, мистер, как вас, для сохранения здоровья.

– Совершенно верно, папа, – сказал Кэз, – но вы выпьете и для подкрепления. У нас будет свадьба: мистер Уильтшайр собирается сочетаться браком.

– С кем? – спросил старик.

– С Умэ! – ответил Кэз.

– С Умэ! – крикнул капитан. – Зачем она ему понадобилась? Он приехал сюда ради здоровья? На кой черт ему Умэ?

– Засохните, папа! – сказал Кэз. – Не вы женитесь на ней. Ей вы не крестный отец, не крестная мать. Полагаю, мистер Уильтшайр поступает так, как ему нравится.

Он извинился, что должен уйти хлопотать о свадьбе, и оставил меня одного с этим жалким существом, которое было его компаньоном и, по правде сказать, его жертвой: и товар и место принадлежали Рендолю, Кэз же и негр были паразитами, прилипшими к нему и кормившимися им, подобно мухам, которых он также мало замечал. О Билле Рендолье я действительно не могу сказать ничего дурного, кроме того факта, что он мне был противен, и время, проведенное в его обществе, казалось мне кошмаром.

Комната была полна мух и удушающе жаркая, так как дом был грязный, низкий, маленький, стоял на скверном месте, за деревней, у опушки кустарника и был закрыт со стороны дороги. Постели троих мужчин были устроены на полу, тут же свалены были в беспорядке кастрюли, сковородки и посуда. Мебели вовсе не было. Рендоль в буйные минуты уничтожил ее. Тут же я сидел и ел обед, поданный нам женою Кэза; тут же занимали меня разговором эти остатки человека; коснеющим языком рассказывал он старые пошлые анекдоты, старые истории, сопровождаемые сиплым смехом; моего угнетенного положения он не признавал. Он все время прихлебывал джин. Временами засыпал, затем снова просыпался, вздрагивал, охал и время от времени спрашивал меня, почему я хочу жениться на Умэ.

– Не следует тебе, дружок, допустить себя стать подобным этому старому джентльмену, – твердил я себе целый день.

Было, должно быть, часов около четырех пополудни, когда задняя дверь медленно открылась, и в комнату вползла чуть не на животе странная старуха-гуземка, вся запеленутая в черную материю, с седыми спутанными волосами, с татуированным лицом, что не было в обычае на этом острове, и с большими, блестящими, помешанными глазами. Она уставила их на меня с восторженным, на мой взгляд, несколько деланным выражением. Отчетливых слов она не говорила, а просто щелкала и чавкала зубами, лепеча как ребенок, просящий рождественского пудинга. Она прошла по всему дому, направляясь прямо ко мне, доползши до меня, схватила мою руку и начала мурлыкать над ней как кошка. От мурлыканья она перешла к пению.

– Кто это, черт возьми? – крикнул я, пораженный всем этим.

– Это Февао, – сказал Рендоль.

Я увидел, что он заковылял в дальний угол.

– Вы ее боитесь? – спросил я.

– Мне бояться! – откликнулся капитан. – Я ей не доверяю, мой друг! Я ее на порог не пустил бы, но сегодня дело другое, сегодня свадьба. Это мать Умэ.

– Положим, это верно, но чему она так рада? – спросил я, более раздраженный, пожалуй, более испуганный, чем хотел показать. Капитан пояснил, что она восхваляет меня в стихах за то, что я женюсь на Умэ.

– Прекрасно, старушка, – сказал я с неудачной попыткой к смеху. – Весьма признателен. Скажите мне, когда покончите с моей рукой.

Она как будто поняла. Пение перешло в крик и смолкло. Женщина выползла из дома точно так же, как вползла в него, и, должно быть, прямо пробралась в кусты, потому что, когда я последовал за нею к дверям, она уже исчезла.

– Странные обычаи, – заметил я.

– Странный народ, – сказал капитан и, к великому моему удивлению, осенил крестным знаменем свою обнаженную грудь.

– Как, разве вы папист? – воскликнул я.

Он с презрением отрекся.

– Самый рьяный баптист, – возразил он, – но и у папистов, милый друг, есть кое-что хорошее и в том числе вот это самое. Послушайтесь моего совета, и если встретите где-нибудь и когда бы то ни было Умэ, Февао или Вигура, или вообще кого-либо из этой толпы, обратитесь в паписта и сделайте то, что сделал я. Понимаете? – спросил он, снова перекрестясь и подмигивая тусклым глазом. – Нет, сэр, папистов здесь нет!.. – и долго еще после этого сообщал он мне свои религиозные взгляды.

Должно быть, Умэ с первого взгляда пленила меня, иначе я бежал бы из этого дома на чистый воздух, к чистому морю или какой-нибудь реке, хотя, по правде сказать, и был обязан Кэзу; кроме того, я не смел бы держать высоко голову на этом острове, если бы убежал от девушки в брачную ночь.

Солнце зашло, небо было все в огне, и лампа уже горела несколько времени, когда Кэз вернулся с Умэ и негром. Умэ была одета и надушена. Короткая юбка из тонкой *тапы* выглядела богаче шелковой. Обнаженный до талии бюст цвета темного меда был украшен полдюжиной ожерелий из семян и цветов, за ушами и в волосах тоже были пурпуровые цветы кетмии². Она держала себя как подобает невесте, серьезно и спокойно, и мне стало стыдно стоять с ней в этом простом доме, перед этим ослабившимся негром. Повторяю, мне было стыдно, потому что шарлатан нарядился в огромный бумажный воротник, а книга, по которой (он делал вид, что читает) он читал, была просто томом романа; слова его службы не могут быть приведены. Я почувствовал укор совести при соединении наших рук, а когда ей вручили брачное свидетельство, я покушался отречься от сделки и сознаться. Вот этот документ, написанный и подписанный Кэзом на листке, вырванном из конторской книги:

«Сим удостоверяется, что Умэ, дочь Февао Фалезской, незаконно повенчана с мистером Джоном Уильтшиайром на одну неделю, и мистер Джон Уильтшиайр может отправить ее ко всем чертям, когда ему заблагорассудится.

*Джон Блекмор,
капеллан матросов.*

Извлечено из регистра Вильямом Т. Рендодем, командиром матросов».

Славная бумага для вручения девушке, которая хранит ее как золото! Человек может, по меньшей мере, почувствовать себя униженным. Но в этих местах подобное практикуется по вине не белолицых, а миссионеров.

Если бы они не обращали туземцев, мне не пришлось бы прибегать к обману, а брал бы я себе каких угодно жен и со спокойной совестью оставлял бы их, когда вздумается.

Чем более я был пристыжен, тем более спешил уйти. Желания наши, видимо, согласовались, насколько я заметил по перемене в торговцах. Насколько сильно было в Кэзе желание удержать меня, настолько сильно ему хотелось теперь спровадить меня, точно он достиг какой-то цели. «Умэ покажет вам ваш дом», – сказал он, и все трое простились с нами в комнате.

Приближалась ночь. В селении пахло деревьями, цветами, морем, печеными плодами хлебного дерева. Слышен был шум прибоя, а издали доносились из домов и из-за деревьев звуки мужских и детских голосов. Приятно мне было дышать свежим воздухом, приятно было покончить с капитаном и видеть рядом с собой, вместо него, это создание. Я чувствовал себя так же, как будто это была девушка Старого Света, и, забывшись на минуту, я взял ее за руку.

² Растение семейства мальвовых, которое у нас зовут обычно китайской розой (*прим. перевод.*).

Пальцы ее приютились в моей руке, я слышал ее прерывистое дыхание, и вот она вдруг схватила мою руку и прижалась к ней лицом. «Вы добрый!» – крикнула она, побежала вперед, остановилась, оглянулась, улыбнулась, опять побежала и таким образом довела меня по опушки кустарника кратчайшей дорогой до дома.

Дело в том, что Кэз, исполняя обязанность свата, сказал ей, что я безумно хочу обладать ею и не беспокоюсь о последствиях. Бедняжка, зная то, о чем я понятия не имел, поверила каждому слову, и у нее закружилась голова от тщеславия и благодарности. Я ничего этого не подозревал. Принадлежа к числу людей, враждебно относящихся к нелепым поступкам с туземными женщинами, видевший столько белых, съеденных родственниками жен и одуряченных договором, я говорил себе, что следует остановиться и образумить ее. Но она была так оригинальна и мила, отбегая вперед и поджидая меня, делалось это так по-детски или так по-собачьи, что я не мог сделать ничего лучшего, как именно следовать за нею, прислушиваясь к шагам ее босых ног и следя в сумерках за ее светящимся телом. Мне пришла в голову другая мысль. Она играла со мной как котенок, когда мы были наедине, а дома держала себя гордо и скромно как графиня. В этом костюме, как ни мал и ни туземец он был, в этом тонком *тана* в цветах и семенах, блестящих как драгоценности, только более крупные, мне показалось, что она действительно графиня, нарядившаяся, чтобы слушать в концерте великих певцов, а не для того, чтобы стать женою бедного торговца, вроде меня.

Она вошла в дом первой, и я еще на улице увидел, как вспыхнула спичка, и окна осветились светом лампы. Коралловая постройка с большой верандой, высокой и большой главной комнатой, была удивительно красива. Сундуки и ящики, наваленные в ней кое-как, придавали ей несколько беспорядочный вид. У стола поджидала меня смущенная Умэ. Тень ее поднималась позади до углубления железного потолка. Сама она была ярко освещена лампой. Я остановился в дверях. Она молча смотрела на меня пылкими, но пугливыми глазами, затем дотронулась до своей груди.

– Я ваша жена, – сказала она.

Никогда еще не бывал я так взволнован. Желание обладать ею вызвало во мне дрожь, подобную дрожанию паруса под влиянием ветра.

Я не мог говорить, если бы хотел, а если бы и мог, то все равно не стал бы. Я стыдился своего чувства к туземной женщине, стыдился этого брака, стыдно мне было и за свидетельство, тщательно спрятанное ею в ее короткой юбке. Я отвернулся и сделал вид, что хочу разобрать ящики. Я как раз попал на ящик джина, единственный привезенный мною. Отчасти присутствие девушки, отчасти отвратительное воспоминание о капитане Рендоле побудили меня принять внезапное решение: я поднял крышку, вынул бутылки, откупорил их одну за другой карманным штопором и поручил Умэ вылить содержимое с веранды.

Вернувшись за последними бутылками, она смущенно посмотрела на меня.

– Не хорошо, – сказал я, несколько лучше владея языком. – Человек он пьет, он нехороший.

Она с этим согласилась, но продолжала соображать.

– Зачем вы его привезли? – спросила она. – Если бы вы не хотели пить, вы бы не привезли его, я думаю.

– Совершенно верно, – сказал я. – Одно время мне очень хотелось пить, а теперь не хочется. Я, видишь ли, не знал, что у меня будет женка. Положим, я пью джин, моей женке было бы страшно.

Говорить с нею ласково – это наибольшее, на что я был способен; я дал обет никогда не допускать себя до слабости к туземке, и мне оставалось только остановиться.

Она серьезно смотрела на меня, сидевшего у открытого ящика.

– Я думаю, вы хороший человек, – сказала она и вдруг упала передо мною на пол. – Я принадлежу вам, как ваша вещь! – крикнула она.

Глава II

Опала

Утром я вышел на веранду до восхода солнца. Дом мой был последним на востоке. Лес и утесы скрывали солнечный восход. На западе протекала быстрая, холодная река, за которой виднелась зеленая поляна, усеянная кокосовыми пальмами, хлебными деревьями и домами. Ставни были в некоторых домах закрыты, в других открыты. Я видел рои москитов и сидевшие в домах тени проснувшихся людей. За зеленым лугом молча прокрадывались люди, закутанные в разноцветные плащи, похожие на библейские изображения бедуинов. Было мертвенно тихо, торжественно, холодно, освещение лагун зарею походило на зарево пожара.

Меня смутило то, что я увидел вблизи. Несколько дюжин взрослых людей и детей образовали полукруг, фланкируя мой дом. Одни расположились на ближайшем берегу разделявшей их реки, другие на дальнем, а часть на скале посередине. Они сидели молча, окутанные покрывалами, и пристально, не спуская глаз, смотрели на меня и на мой дом, смотрели как пойнтеры. Я нашел это странным и вышел. Вернувшись с купанья, я нашел их на прежнем месте с прибавкой еще двух-трех человек, что показалось мне еще более странным. «Чего ради они смотрят на мой дом?», – подумал я, входя в него.

Но мысль об этих наблюдателях упорно засела у меня в голове, и я снова вышел. Солнце уже взошло, но все еще находилось за лесом. Прошло с четверть часа. Толпа значительно возросла, дальний берег был почти полон: человек тридцать взрослых и вдвое большее количество детей частью стояли, частью сидели на корточках и глазели на мой дом. Я видел однажды окруженный таким образом дом, но тогда торговец дубасил палкой свою жену, и она кричала; тут же не было ничего подобного – топилась печка, дым шел по-христиански, – все было благопристойно, на бристоольский лад. Положим, явился чужестранец, но они имели возможность видеть его вчера и отнеслись к его приезду довольно спокойно. Что же встревожило их теперь? Я положил руки на перила и тоже уставился на них. Перемигиваться стали, черт возьми! Временами дети болтали, но так тихо, что до меня не долетало даже гула их голосов. Остальные напоминали изваяние; безмолвно и печально смотрели они на меня своими большими глазами, и мне пришло в голову, что мало разницы было бы в их взгляде, если бы я стоял на помосте виселицы, а эти добрые люди пришли бы глядеть, как меня будут вешать.

Я почувствовал, что начинаю робеть, и боялся дать это заметить, этого никогда не следует показывать. Я выпрямился, подбодрился, спустился с веранды и направился к реке. Там начали перешептываться, послышалось жужжание, какое иногда слышишь в театре при подъеме занавеса, и ближайшие отступили на расстояние шага. Я видел, как одна девушка положила одну руку на молодого человека, а другой рукой показала вверх, сказав в это время что-то задыхающимся голосом. Три мальчугана сидели на дороге, где я должен был пройти на расстоянии трех футов от них. Закутанные в покрывало, с бритыми головками и торчащим хохолком, с этими оригинальными личиками они походили на каменные статуэтки. Они сидели торжественно, как судьи. Я поднял сжатый кулак, как человек, намеревающийся дать тумака, и мне показалось что-то вроде подмигивания на этих трех лицах, затем один (самый дальний) вскочил и побежал к своей маме, двое остальных хотели последовать за ним, запутались, упали, заорали, вылезли из своих покрывал, и минуту спустя все трое нагишом ударили во все лопатки, визжа, как поросята. Туземцы, никогда не пропускающие случая пошутить, даже на похоронах, смеялись коротким смехом, похожим на собачий лай.

Говорят, человек боится оставаться один. Ничего подобного. Что пугает его в темноте или в кустах, так это невозможность убедиться в безопасности и то, что у него может очутиться за плечами целая армия, а еще страшнее попасть в толпу, не имея ни малейшего представления

о ее намерениях. Мальчуганы не успели добежать до места и все еще полным ходом летели прямо по дороге, как я уже успел обойти одно судно и скрыться за вторым. Я, как дурак, шел вперед, делая по пяти узлов, и, как дурак, вернулся обратно. Это, должно быть, было презабавно, но на этот раз никто не смеялся, только одна старуха забормотала какую-то молитву, вроде того, как бормочат диссентеры свои проповеди.

– Никогда еще не видел я таких дураков канаков, как здешние, – сказал я Умэ, смотря из окна на зевак.

– Ничего не знаю, – ответила Умэ с видом отвращения, что у нее вышло очень ловко.

Вот и весь наш разговор по этому поводу, потому что я был сильно сконфужен тем, что Умэ отнеслась к этому равнодушно, как к делу совершенно естественному.

Целый день сидели дураки, то в большем, то в меньшем числе, с западной стороны моего дома и по реке, поджидая какое-нибудь знамение: я полагаю, они ждали небесного огня, который пожрет меня со всем моим добром. К вечеру им, как истым островитянам, надоело ждать, они ушли и устроили танцы в большом деревенском доме, откуда доносились до меня их пение и хлопанье в ладоши часов до десяти вечера, а на следующий день они, казалось, забыли даже о моем существовании. Спустился огонь с неба, разверзлись земля и поглотил меня – никто не видел бы этой помехи или урока – назовите, как хотите. Однако мне пришлось узнать, что они и не думали забывать меня и зорко следили, не будет ли какого-нибудь феномена в моей жизни.

Два дня я был очень занят приведением в порядок магазина и проверкой имущества, оставленного Вигуром. Эта работа мне порядком-таки надоела и мешала думать о чем-нибудь другом. Бен принял товар до переезда, и я знал, что на него можно вполне положиться, но, очевидно, здесь кто-то очень бесцеремонно хозяйничал, и я открыл, что меня обокрали на полугодовое содержание и прибыль. Я готов был дать выгнать себя пинками из деревни за то, что был таким ослом и пьянствовал с Кэзом, вместо того чтобы заняться делом и принять товар самому.

Как бы там ни было, но, потеряв голову, по волосам плакать было бесполезно.

Дело уже сделано и переделать его нельзя. Все, что я мог сделать, это привести в порядок остатки прежнего и нового товара, обойти все, избавиться от крыс и тараканов и устроить магазин на сиднейский лад. Я придал ему красивый вид, и когда на третий день, закулив трубочку, я стоял в дверях и заглянул в магазин, а затем обернулся и, взглянув на далекие горы, увидел качающиеся кокосовые орехи и вычислил тонны копры и, увидя щеголей островитян, сообразил, какое количество ярдов ситца потребуется им на костюмы, я чувствовал, что это и есть самое настоящее место для приобретения состояния, после чего можно будет снова вернуться домой и открыть харчевню. И вот, сидя на веранде, среди чудной картины, великолепного солнца, прекрасного, здорового дела, освежающего кровь как морское купанье, я совершенно отрешился от этого и стал мечтать об Англии, этой сырой, холодной, грязной норе, где не достает света для чтения, мечтать о внешнем виде моего кабачка, стоящего на краю большой дороги с вывеской на зеленом дереве.

Так прошло утро; но когда пришел день, и ни один черт не зашел ко мне, это показалось мне странным, насколько я был знаком с туземцами других островов. Люди посмеивались над нашей фирмой и ее прекрасными станциями вообще, а над станцией Фалеза в особенности, и говорили, что все количество копры и в пятьдесят лет не окупит издержек, что мне казалось преувеличением. Но когда день миновал, а дела не было, мне стало не по себе, и в три часа пополудни я пошел побродить, чтобы рассеяться.

На лужайке я увидел белого человека в рясе, в котором, по лицу и по костюму, я узнал священника. По наружности он был добродушный малый, седоватый и такой грязный, что им можно было писать на листе белой бумаги.

– Добрый день, – поздоровался я.

Он ответил на туземном языке.

– Вы по-английски не говорите? – спросил я.

– Я говорю по-французски, – ответил он.

– Очень жаль, но я тут ничего не могу сделать, – сказал я.

Он заговорил сначала по-французски, потом по-туземному, что, по его мнению, было удобнее. Я понял, что он не просто тратит со мною время, а хочет мне что-то сообщить. Я с трудом понимал его. Я слышал имена Адамса, Кэза, Рендоля – последнее чаще всего – слово «яд» или что-то в этом роде и очень часто повторяемое туземное слово. Идя домой, я все время твердил его.

– Что значит «фуси-оки»? – спросил я Умэ, повторив приблизительно это слово.

– Убивать, – сказала она.

– Черт возьми! Слышала ты, что Кэз отравил Джонни Адамса?

– Это всякому известно, – ответила Умэ презрительно. – Дал ему белый песок, гадкий песок. У него есть еще бутылка. Положим, он дает вам джин, вы его не берите.

Я слышал столько историй в таком же духе и на других островах, с белым порошком во главе, что не придал им значения, а чтобы разузнать подробности, прошел к Рендолю и в дверях увидел Кэза, чистящего ружья.

– Хороша здесь охота? – спросил я.

– Первый сорт. Лес полон всевозможными птицами. Хорошо, кабы было столько копры, – сказал он, как мне показалось, лукаво, – но здесь, кажется, совсем делать нечего.

Я мог видеть в магазине негра, подающего что-то покупателю.

– Однако, это похоже на дело, – сказал я.

– Это первая продажа за три недели, – возразил он.

– Может ли быть? – спросил я. – Три недели? Толкуйте!

– Если вы мне не верите, – сказал он несколько резко, – можете пойти посмотреть в кладовую, она в настоящее время наполовину пуста.

– Мне от этого лучше не будет. Я могу сказать, что вчера она могла быть совсем пуста.

– Это верно, – усмехнулся он.

– Кстати! Что за человек священник? – спросил я. – Кажется, он доброжелательный на вид.

На это Кэз захохотал громко.

– А, теперь я понимаю, что вас тревожит! – сказал он. – К вам заходил Галюшэ.

Его большей частью называли отец Галош³, но Кэз всегда применял к этому имени французскую игру слов, и это было лишней причиной, почему мы считали его выше обыкновенного смертного.

– Да, я его видел, – ответил я, – и узнал, что он не высокого мнения о вашем капитане Рендоле.

– О, да! Ссора из-за бедного Адамса, – сказал Кэз. – В день его смерти зашел Бенкомб. Встречались вы с Бенкомбом?

Я сказал «нет».

– Бенкомб – врач, – засмеялся Кэз. – Ну-с, так вот Бенкомб забил себе в голову, что, так как духовенства здесь, кроме канакских пасторов, не имеется, то мы должны позвать отца Галюшэ, чтобы он исповедовал и причастил старика. Для меня это было, понимаете, безразлично, но я сказал, что нужно, на мой взгляд, спросить мнение Адамса. Он с безумным видом кричал о «потопленной копре». «Послушайте, – говорю я, – вы очень больны. Хотите видеть Калошу?» Он приподнялся на локте. «Позовите, – говорит, – священника! Позовите священника! Нн дайте мне умереть, как собаке!» Он сказал это горячо, будто в жару, но довольно осмысленно. Возражать на это было бы странно, и мы послали к Галюшэ узнать, не желает ли

³ Galoche – калоша.

он пожаловать. Он, конечно, пожелал и при одной мысли об этом подскочил в своем грязном белье. Мы все устроили без папы, а папа ревностный баптист и находил, что к папистам обращаться не следует. Он взял да двери-то и запер. Бенкомб обозвал его ханжой. Я думал, знаете, что с ним будет припадок от злости. «Как, это я-то ханжа? – кричит. – До чего я дожил. Приходится выслушивать такие вещи от бездельника, подобного вам!» Он бросился на Бенкомба, и мне пришлось их разнимать. Посередине лежит в забытьи Адамс и бредит, как сумасшедший, насчет копры. Как сцена, это было очень интересно, и меня разобрал смех. Вдруг Адамс сел, прижал руки к груди и отправился в страну ужасов. Тяжелая смерть была у Джона Адамса, – сказал Кэз, сразу нахмурился.

– А что сделалось со священником? – спросил я.

– Со священником? – сказал Кэз. – О, он стучался в дверь, сзывал туземцев, чтобы вломиться в дом, кричал во все горло, что он хочет спасти душу и прочее. Страшно бесновался священник. Но что поделаешь? Джонни ускользнул от его уз; исчез Джонни с базара, и обрядная возня была совершенно упразднена. Затем до Рендоля дошел слух, что священник молится на могиле Джонни. Папа был здорово пьян, забрал дубину и отправился прямо к могиле, где стоял на коленях Галош, окруженный толпой глазающих туземцев. Вам не верится, чтобы папа интересовался чем-нибудь, кроме спиртных напитков, но он и священник дрались целых два часа, швыряя друг друга по-туземному, и Галош, повалив папа, каждый раз отделявал его дубинкой. Такой забавы в Фалезе никогда не бывало. Кончилось это тем, что капитана Рендоля свалил припадок или удар, а священник убрался восвояси. Но то был самый сердитый священник, о каких вы когда-либо слышали, и пожаловался старшинам на оскорбление – как он это называл. Жалобы не приняли во внимание, потому что у нас все старшины протестанты, а так как он надоедал относительно собраний по поводу школ, то они были рады утереть ему нос. Тогда он начал клясться, что старый Рендоль дал Адамсу яду или что-то в этом роде; а теперь оба они при встречах скалятся друг на друга как павианы.

Он рассказал эту историю с самым естественным видом человека, который любит позабавиться, но когда я теперь, много времени спустя, припоминаю его рассказ, он мне кажется гнусным. Кэз никогда не корчил из себя человека мягкого, он старался казаться прямым, честным, откровенным и, по правде сказать, окончательно сбил меня с толку.

Вернувшись домой, я спросил Умэ, «попи» ли она? (так называют туземцы католиков).

– Э ле ай! – отвечала она. Для выразительности отрицания она прибегала всегда к туземному языку. – Нехорошие попи! – добавила она.

Тогда я расспросил ее об Адамсе и священнике, и она передала мне, по-своему, почти тот же самый рассказ. Я не особенно подвинулся в сведениях, но в общем склонен был считать основой дела ссору относительно таинства, а отравление – одним разговором.

Следующий день был воскресный, когда дела ждать было ничего. Умэ спросила меня утром, пойду ли я молиться. Я сказал ей, чтобы она и не думала идти, и она беспрекословно осталась дома. Мне показалось это неестественным для туземки, для женщины, у которой есть новые платья для показа, но это было удобно для меня, и я не придавал этому значения. Странно, что после всего этого я отправился в церковь, так странно, что я вряд ли когда-нибудь забуду.

Я вышел побродить и услышал пение гимна. Вам это знакомо? Когда слышишь пение народа, оно будто притягивает, и я быстро очутился в церкви. Это было низкое, длинное коралловое здание, закругленное на обоих концах на манер китоловного судна, с большой туземной кровлей, с окнами без рам и с дверными пролетами без дверей. Я сунул голову в одно из окон и стал смотреть на незнакомое для меня зрелище: на тех островах, где я жил раньше, было не так. Вся паства сидела на циновках на полу, женщины по одну сторону, мужчины по другую, все разодеты в пух и прах: женщины в платьях и покупных шляпах, мужчины в рубашках и жакетах. Гимн кончился. Пастор, крупный молодец канак, читал с кафедры проповедь, по жестам, по звуку голоса, по выражению я вывел заключение, что он что-то доказывает, стре-

мится погубить кого-то. Вдруг он поднял голову и поймал мой взгляд... Даю вам слово, что он затрясся! Глаза полезли на лоб, рука поднялась и, как бы помимо его воли, указала на меня, проповедь прекратилась.

Некрасиво рассказывать такое о себе, но я убежал, и, случись что-нибудь подобное завтра, я тоже удрал бы. Испуг проповедника-канака при одном взгляде на меня произвел такое впечатление, как будто я сразу потерял твердую почву. Придя домой, я сел, не говоря ни слова. Вы думаете, быть может, отчего бы не сказать жене? Но это противоречило моим взглядам. Вы думаете, быть может, отчего бы не пойти посоветоваться с Кэзом? Да мне, откровенно говоря, стыдно было рассказать такую штуку, я боялся, чтобы мне не захохотали прямо в лицо. Собственно, поэтому я прикусил язык, но больше думал об этом, а чем больше думал, тем меньше мне это дело нравилось.

В понедельник вечером мне стало ясно, что меня подвергли табу. В селении два дня стоит открытым новый магазин, и ни один мужчина, ни одна женщина не зашли взглянуть на товар – это превосходило всякое вероятие.

– Умэ, – сказал я, – мне думается, что на меня наложили табу.

– Я так думаю, – ответила она.

Я подумал было, не расспросить ли ее побольше, но не следует возвеличивать туземцев намеком на желание советоваться с ними, и я отправился к Кэзу. Было темно, и он сидел на лестнице и курил, по обыкновению, один.

– Странное дело вышло, Кэз, – сказал я ему. – На меня наложили табу.

– Вздор! – возразил он. – На островах это не практикуется.

– Практикуется или нет здесь, а где я жил раньше, там практиковалось, – ответил я. – Мне это знакомо, и я вам говорю, что на меня наложено табу – это факт.

– Что же вы сделали? – спросил он.

– Это-то именно я и желаю узнать, – ответил я.

– О, этого быть не может! Это невозможно! – заметил он. – Как бы там ни было, я вам скажу, что я сделаю. Чтобы успокоить вас, я обойду деревню и узнаю наверняка. А вы зайдите потолковать с папа.

– Благодарю вас, – ответил я. – Я лучше останусь на веранде. У вас очень душно.

– Ну, так я вызову папа сюда, – сказал он.

– Мне не хотелось бы, мой дорогой. Дело в том, что я не выношу мистера Рендоля.

Кэз засмеялся, взял из лавки фонарь и отправился в деревню. Он пробыл там с четверть часа и вернулся ужасно серьезным.

– Ну-с, – сказал он, ставя фонарь на ступеньки террасы, – мне просто не верится! До чего дойдет дальше наглость канаков? Они, по-видимому, утратили всякое представление об уважении к белым. Нужно бы нам сюда воинственного человека, какого-нибудь немца – те умеют справляться с канаками.

– Значит, я нахожусь под табу? – воскликнул я.

– Да, что-то в этом роде, – ответил он. – Самое худшее, что приходилось слышать в этом духе... Но я грудью встану за вас, Уильтшайр. Приходите сюда завтра утром, часам к девяти, и мы разузнаем все от старшин. Они меня боятся или, вернее, боялись, но теперь так задрали головы, что я не знаю, что и думать. Поймите меня, Уильтшайр, – продолжал он очень решительно, – я смотрю на это не так, как на вашу ссору, а как на «нашу» ссору, я считаю ее ссорой с белым, и я ваш, вот вам моя рука.

– Вы узнали причину? – спросил я.

– Нет еще, – сказал Кэз, – но мы это узнаем завтра.

Я был очень доволен его поведением и еще более был доволен на следующий день, когда мы встретились с ним перед тем, как идти к старшинам, доволен был его серьезным, решительным видом. Старшины ожидали нас в одном из их больших овальных зданий, путь к кото-

рому указывала стоявшая у крыши толпа, человек сто мужчин, женщин и детей. Многие из мужчин шли на работу, закутанные в зеленые покрывала, что напомнило мне 1 мая на родине. Толпа раздвинулась и начала злобно перешептываться, когда мы вошли в дом. Там сидело пять старшин. Четверо из них – могучие статные молодцы, а пятый – старик, весь в морщинах. Они сидели на матах, в белых коротеньких юбочках и жакетах, с веерами в руках – как прекрасные дамы. Нам были посланы маты вне дома, против важных сановников. В середине было пусто. Толпа, сомкнувшись за нами, шепталась, толкалась, приподнималась, чтоб видеть нас, и тени их колебались перед нами на чистом каменном полу. Меня испугало возбужденное состояние черни, но спокойный, вежливый вид старшин успокоил меня, особенно после долгой речи оратора, произнесенной тихим голосом с указанием то на Кэза, то на меня, то с ударами кулаков по матам. Ясно было одно: в старшинах не заметно было и признака гнева.

– О чем он говорил? – спросил я по окончании речи.

– О том, что они рады видеть вас, что, зная от меня о вашем желании принести какую-то жалобу, предлагают вам сказать, в чем дело, и постараются разобрать его правильно.

– Много, однако, было потрачено времени, чтобы сказать это, – заметил я.

– О, остальное было лезть, приветствие и прочее, – ответил Кэз. – Ведь вы знаете канаков?

– Ну, от меня они много любезностей не услышат! – сказал я. – Скажите им кто я: белолицый, британский подданный и бесконечно важное лицо у себя на родине. Приехал я сюда для их блага – внести цивилизацию. Не успел я разобрать своего товара, как они наложили на меня табу, и никто не смеет подойти к моему магазину. Скажите им, что я не имею в виду противиться закону, и если они желают чего-нибудь, я охотно исполню. Скажите им, что я не осуждаю человека, который заботится о себе, потому что это свойственно людям, но если они думают подчинить меня своим капризам, то они очень ошибаются. Скажите им прямо, что я спрашиваю о причине такого обращения, как белый и как британский подданный. Вот смысл моей речи. Я знаю, как надо обращаться с канаками: они, надо отдать им справедливость, всегда подчиняются здравому смыслу и мягкому обращению. Надо постараться им вбить в голову, что у них нет ни настоящего правительства, ни настоящих законов, а если и есть, то было бы нелепостью применять их к белолицым. Странно было бы, если бы мы подчинялись их влиянию и не могли поступать так, как нам угодно.

Одна эта мысль уже бесила меня, что я и высказал несколько необдуманно в своей речи.

Кэз перевел или, вернее, сделал вид, что перевел ее; ему возразили сначала первый старшина, потом второй, потом третий, все одинаково спокойно, хотя торжественно. Раз предложили Кэзу какой-то вопрос и при его ответе все – и старшины, и народ – громко расхохотались и посмотрели на меня.

После всех морщинистый старик и высокий молодой старшина, говоривший первым, подвергли Кэза чему-то, вроде допроса. Иногда мне казалось, что Кэз старается оправдаться, тогда они накидывались на него, точно собаки, и пот лил с его лица (зрелище для меня не особенно приятное), а при некоторых его ответах толпа роптала и рычала, что было еще более неприятно для моего слуха. Ужасно обидно, что я не знал туземного языка, потому что (я теперь уверен) они спрашивали Кэза относительно моего брака, а он, должно быть, нагло лгал, чтобы самому уволочь ноги. Но оставим Кэза в покое. У него мозг приспособлен для парламента.

– Кончено, что ли? – спросил я во время паузы.

– Пойдем отсюда, – сказал он с печальным лицом. – Я вам дорогой расскажу.

– Вы думаете, они не хотят снять табу? – воскликнул я.

– Что-то очень странное, – ответил он. – Я вам скажу дорогою. Пойдемте лучше.

– Я их требованиям подчиняться не желаю. Не такой я человек, чтобы бежать перед толпой канаков.

– Лучше было бы бежать, – сказал Кэз, многозначительно посмотрев на меня.

Пятеро старшин смотрели на меня довольно вежливо, но как бы с насмешкой, а толпа шумела и толкалась.

Вспомнил я людей, следивших за моим домом, вспомнил, как испугался на кафедре пастор при одном взгляде на меня, и все в общем представилось мне настолько выходящим из ряда, что я встал и последовал за Кэзом. Толпа снова расступилась, чтобы пропустить нас, только шире, чем раньше, дети с визгом разбежались. Все стояли и наблюдали за уходившими двумя белыми лицами.

– Теперь объясните мне, в чем дело, – сказал я.

– По правде сказать, я и сам хорошенько не знаю. Они вас жалеют, – ответил Кэз.

– Накладывать на человека табу из сожаления к нему! – воскликнул я. – Никогда не слышал ничего подобного.

– Это, видите ли, хуже, – сказал Кэз. – Это не табу, я же вам говорил, что табу быть не может. Дело в том, что они не хотят входить с вами в сношения, Уильтшайр.

– Не хотят входить в сношения? Что вы хотите этим сказать? Почему же они не хотят? – воскликнул я.

– Боятся, должно быть, – ответил Кэз, понизив голос.

Я остановился как вкопанный.

– Боятся? – переспросил я. – Не сошли ли вы с ума, Кэз? Чего им бояться?

– Мне самому хотелось бы это знать, – ответил Кэз. – Вероятнее всего, одно из их дурацких суеверий. Вот с этим-то я и не могу согласиться, – продолжал он. – Это напоминает дело Вигура.

– Мне хотелось бы знать ваше мнение на этот счет, и я побеспокою вас просьбой сообщить мне его, – сказал я.

– Вигур, как вам известно, все бросил и удрал, – сказал он, – тоже вследствие какого-то суеверия. С чем оно было связано, я так и не узнал, но оно приняло дурной оборот под конец.

– Я слышал эту историю в ином виде, – заметил я, – и лучше будет сказать вам. Я слышал, что он уехал из-за вас.

– О, ему, верно, стыдно было сказать правду. Я догадываюсь, что он считал это глупостью, – сказал Кэз. – Это факт, что я выпроводил его. «Что бы сделали вы, старина?» – спросил он. – «Уехал бы, не раздумывая», – ответил я. – Я был ужасно рад, что он уезжает. Не в моих правилах отворачиваться от соперника, если он занимает прочное положение, но в деревне началось такое волнение, что я не мог предвидеть, чем и когда оно кончится. Глупо было с моей стороны возиться с Вигуром. Сегодня они поставили мне это на вид. Слышали, Миа – молодой, высокий такой старшина – проговорился насчет «Вика»? Это его и касалось. Как видно, его не забыли.

– Все это прекрасно, – сказал я, – но все-таки не объясняет мне этого недоразумения, не говорит мне, чего они боятся, что у них за идея.

– Кабы я знал! – сказал Кэз. – Яснее я сказать не могу.

– Вы, я думаю, могли бы спросить, – заметил я.

– Я и спросил, – ответил он. – Но вы должны были видеть, если вы не слепы, что вопросу придали иное значение. Я заступаюсь за белого, пока возможно, но когда я вижу, что сам попадаю в беду, то прежде всего думаю о собственной шкуре. Я много теряю от своего добродушия и беру на себя смелость сказать, что вы проявляете странную благодарность человеку, который попал в эту передрагу по вашему делу.

– Есть одна вещь, о которой я думаю, – сказал я. – Вы сгупили, что так много возились с Вигуром. Утешительно, что вы не очень много заботились обо мне: вы ни разу даже не зашли ко мне. Сознаться, вы знали об этом раньше?

– Я не был у вас – это факт. Это вышло случайно, и это меня огорчает, Уильтшайр. Относительно же посещения в настоящее время я буду совершенно откровенен.

– Вы хотите сказать, что не придете? – спросил я.

– Крайне прискорбно, старина, но таково положение, – сказал Кэз.

– Короче говоря, боитесь? – заметил я.

– Короче говоря, боюсь, – ответил он.

– А я так и останусь под табу ни за что, ни про что? – спросил я.

– Говорят вам, табу нет. Просто канаки не желают сблизиться с вами, и все тут. Кто их может принудить? Мы, торговцы, пренесносный народ, надо заметить: заставляем бедняг-канаков отменять законы, снимать табу, когда для нас это выгодно. Но не имеете же вы право рассчитывать, чтобы закон обязывал жителей посещать ваш магазин – хотят ли, не хотят ли они этого? Не скажете же вы мне, что вы злитесь на это? Если же и злитесь, то странно предлагать то же самое и мне. Я должен вам поставить на вид, Уильтшайр, что я сам торговый человек.

– Не думаю, что на вашем месте я стал бы говорить о злобе, – сказал я. – Насколько я вижу, дело обстоит так: никто не ведет торговли со мною, и все ведут сношение с вами. Вам доставляют копру, а мне приходится убираться к черту и трепетать. Туземного языка я не знаю, вы единственный, достойный внимания человек, говорящий по-английски, и вы возбуждаете злобу, намекаете, что жизни моей грозит опасность и все, что можете сказать мне, что причина вам неизвестна!

– Это именно все, что я могу вам сказать, – подтвердил он. – Не знаю... Желал бы знать...

– Значит, вы поворачиваете мне спину и предоставляете меня самому себе? Так? – спросил я.

– Если вам угодно придавать моему поведению такое гадкое значение, – сказал он. – Я не смотрю так, я просто говорю, что желаю отстраниться от вас, потому что если я этого не сделаю, то сам попаду в беду.

– Милый вы сорт белолицего, – заметил я.

– О, я понимаю ваше возмущение. Меня самого это возмутило бы. Я готов извиниться.

– Можете идти извиняться куда-нибудь в другое место. Вот моя дорога, вот ваша.

Мы разошлись. Я пошел прямо домой в сильном раздражении и нашел Умэ разбирающейся в куче товара, как ребенок.

– Послушай! Довольно дурить! Наделала кутерьмы, будто без этого мне мало хлопот. Я, кажется, говорил тебе приготовить обед.

Я проявил в своем обращении некоторую грубость, заслуженную ею. Она сразу вытянулась передо мною, как часовой перед офицером, потому что, надо заметить, она была хорошо воспитана и питала большое уважение к белым.

– А теперь ты, как здешняя, должна это понять. За что на меня наложено табу? Или если табу нет, то почему народ меня боится?

Она стояла и смотрела на меня своими, похожими на блюдечки, глазами.

– Вы не знаете? – прошептала она наконец.

– Нет. Откуда мне знать? В том месте, откуда я приехал, такой глупости нет.

– Эз вам не сказал? – спросила она.

Эзом называли туземцы Кэза, что значит чужеземец или необыкновенный, а может быть, – сухое яблоко; хотя, вернее всего, это было его собственное имя, переделанное на канакский лад.

– Не многое сказал, – ответил я.

– Черт возьми Эза! – воскликнула она.

Вам, может быть, покажется забавным вырвавшееся у этой канакской девушки восклицание. У нее это было ни проклятие, ни гнев – ничего подобного. Она не сердилась и сказала просто и серьезно. Она стояла, говоря это. Не могу в точности сказать, чтобы до или после

этого я видел женщину подобную этой, и это поразило меня до онемения. Затем она сделала что-то вроде поклона, но очень гордо, и подняла руки.

– Мне совестно, – сказала она. – Я думала, вы знаете. Эз мне сказал, вы знаете, он сказал, вам все равно, сказал, вы очень меня любите. Табу относится ко мне, – сказала она, дотрагиваясь до своей груди, как в день нашей свадьбы. – Я уйду, и табу уйдет. И вы добудете много копры. Вам, я думаю, будет гораздо приятнее. Тофа, алии! – сказала она по-канакски. – Прощайте, господин!

– Остановись! – крикнул я. – Не спеши!

Она с улыбкой покосилась на меня.

– Да ведь у вас будет копра, – сказала она так, как предлагают ребенку сахар:

– Выслушай меня, Умэ, – сказал я. – Я не знал – это факт, и Кэз, кажется, бессовестно надул нас обоих. Теперь я знаю и не сержусь. Я чересчур сильно люблю тебя. Не уходи, не оставляй меня, у меня большое горе.

– Вы меня не любите, вы говорили мне худые слова, – воскликнула она и, бросившись на пол, начала плакать.

Я не ученый, но не вчера родился, и подумал, что худшее миновало. Она лежала, повернувшись лицом к стене, сотрясаемая рыданиями как ребенок, так что даже ноги подпрыгивали. Странно, как это трогает человека, когда он влюблен. Тут уж нечего ломаться, что, мол, она жалкая «канака» и прочее, – я был влюблен в нее или почти влюблен. Я попытался взять ее руку – она не позволила.

– Смысла нет так плакать, Умэ! – сказал я. – Я желаю, чтобы ты оставалась здесь... Мне нужна моя женушка... Я говорю правду.

– Говорите неправду, – рыдала она.

– Хорошо! Я подожду, пока ты успокоишься, – сказал я, сел рядом с нею на пол и стал гладить ее по волосам. Она сначала отшатнулась, потом будто перестала замечать меня, затем рыдания постепенно стихли и прекратились, после чего она повернулась ко мне и подняла голову.

– Вы говорите правду? Вы меня любите? – спросила она.

– Ты, Умэ, для меня дороже копры всего Южного океана, – сказал я. Это было чересчур сильно сказано, но самое странное это то, что я так думал.

Она обняла меня, прижалась ко мне лицом – так целуются на островах – и смочила меня своими слезами. Сердце мое отдалось ей всецело. Никогда никто не был мне ближе этой темнокожей девушки. Все вместе взятое вскружило мне голову. Она была достаточно мила. Она, казалось, была моим единственным другом в этом странном месте, и мне стало стыдно, что я так грубо говорил с нею; она женщина, жена моя, кроме того, ребенок. Мне было горько за нее, и я чувствовал во рту соль ее слез.

Я забыл и Кэза и туземцев; забыл, что ничего не узнал об истории, а если и вспомнил, то лишь для того, чтобы изгнать воспоминание; забыл, что не добыть мне копры, и таким образом нечем будет жить; забыл своих хозяев и странную услугу, оказанную им мною, когда я предпочел их делу *своей* личный каприз; забыл даже, что Умэ была не настоящая жена, а просто обольщенная девушка, и обольщенная достаточно гнусно. Но это значит забегать чересчур далеко вперед. Я дойду до этого рассказа потом.

Было уже лоздно, когда мы вспомнили об обеде. Печь погасла и остыла. Мы снова растопили ее, и каждый готовил свое блюдо, помогая и мешая друг другу, устроив из этого игру как дети. Я так жаждал ее близости, что за обедом посадил ее себе на колени и, придерживая ее одною рукою, ел другою. Я сделал большее: она была, вероятно, самой худшей из созданных Богом кухарок, и от блюда, к которому она прикладывала руки, вероятно, стошнило бы порядную лошадь, а я угощался в этот день стряпней Умэ, и был доволен как никогда.

Я не притворялся ни перед нею, ни перед самим собою. Я понимал, что совершенно погиб, и она могла одурачить меня, если бы хотела. Это-то, вероятно, и побудило ее разговаривать. Она поверила, что мы друзья. Сидя у меня на коленях и кушая мое блюдо, в то время как я, дурачась, ел ее, она рассказала мне очень многое о себе, о своей матери, о Кэзе. Всеэто было бы очень утомительно и составило бы целую брошюру, если бы я изложил рассказ на ломаном туземном языке; но я расскажу вкратце по-английски одно обстоятельство, близко меня касающееся, как вы скоро увидите.

Она родилась на одном из пограничных островов, прожила в тех местах только года два-три с белым человеком, который был женат на ее матери и умер. В Фалезе они живут только год. До этого времени они большей частью переезжали с места на место за белым человеком, бывшим одним из тех перекаати-поле, которые гоняются за легкой наживой, толкуют о поисках золота, основываясь на радужных надеждах; если человек хочет такого дела, которого ему хватит на всю жизнь, пусть откажется от погони за легкой наживой. Тут надо и поесть, и выпить; им давай и пиво, и кегли; вы никогда не услышите, чтобы они умирали от голода, и редко увидите их трезвыми; что же касается постоянного спорта, петушиный бой тут не то, что в провинции. Как бы ни было, этот пройдоха всюду таскал за собой жену и дочь, но большею частью по таким, стоящим особняком островам, где не было полиции, и где он надеялся на легкую наживу. У меня был собственный взгляд на этого старика, но я был очень доволен, что он уберег Умэ от Апии, Папеете и блестящих городов. Наконец он наткнулся на этот остров, открыл – Господь его ведает как – какую-то торговлю, по обыкновению все время пьянствовал и умер, ничего не оставив, кроме клочка земли на Фалезе, полученного им за долг. Это-то и побудило мать и дочь приехать и поселиться там. Кэз, кажется, покровительствовал им, насколько мог, и помог им построить дом. Он был в то время очень добрый, давал Умэ работу и, несомненно, имел на нее виды с самого начала. Только они успели устроиться, подвернулся молодой человек – туземец, хотевший жениться на ней. Он был незначительный старшина, у него было в семье несколько прекрасных матов и старых песен, и сам он был «очень мил», по словам Умэ; словом, в общем это была удивительная партия для бедной девушки и притом не островитянки. При первом слове об этом я вдруг почувствовал чувство ревности.

– Ты хочешь сказать, что вышла бы за него замуж? – воскликнул я.

– Иое, да, – сказала она. – Я очень его любила!

– Хорошо! Ну, а вдруг я приехал бы после?

– Вас я теперь еще больше люблю, – сказала она. – Положим, я вышла за Ионе, я хорошая жена. Я не простая канака. Хорошая девушка! – сказала она.

Мне оставалось довольствоваться и этим. Но уверяю вас, что дело это меня ни капельки не интересовало. Конец истории мне понравился не больше начала, потому что этот самый предполагаемый брак и был причиной всех бед. Кажется, до этого на Умэ и ее мать хотя и смотрели свысока, как на бедняков и чужеземок, но не обижали. Даже при появлении Ионе общество волновалось менее, чем можно было ожидать. Потом вдруг, месяцев за шесть до моего приезда, Ионе покинул ее и уехал. С того самого дня до настоящего времени Умэ и ее мать оказались совершенно одинокими: никто к ним не заходил, никто не разговаривал. Придут в церковь – другие женщины отодвигают от них свои маты и оставляют их изолированными. Это было настоящее отлучение, как бывало в средние века. Причины этого и смысла никто не знал. «Вероятно, какая-нибудь „Тала-пепело“, – сказала Умэ, – какая-нибудь ложь, какая-нибудь клевета». Умэ знала только, что девушки, завидовавшие ее счастью с Ионе, упрекали ее за его бегство и, встречая ее в лесу, кричали ей, что она никогда не выйдет замуж. «Они говорили мне, что нет человека, который на мне женится. Он будет бояться», – сказала она.

Только одна душа и заходила к ним после этого – мастер Кэз, но и он остерегался, и если бывал, то только по вечерам. Вскоре он открыл свои карты, то есть стал ухаживать за Умэ. Я был недоволен и по поводу Ионе, но когда в дело вмешался Кэз, я резко перебил ее.

– Что же, ты и Кэза тоже находила «очень милым», – спросил я с презрением. – Его тоже «очень любила»?

– Вы говорите глупости, – ответила она. – Белый человек приходит, я выхожу за него все равно как за канака, а он женится на мне как на белой. Положим, он не женится, уйдет прочь, женщину он оставит. Он все равно как вор – только обещает... Лживое сердце – не могу любить! Вы женились на мне. У вас большое сердце – вы не стыдитесь островитянки. За это я вас очень люблю. Я горда.

Не знаю, чувствовал ли я себя когда-либо в жизни отвратительнее. Я положил вилку, отстранил «островитянку» и начал ходить по комнате. Умэ следила за мной глазами, потому что была встревожена. Нисколько не удивительно! Слово «встревожен» ко мне не подходило. Мне так хотелось, и я так боялся очистить свою душу от грязи, в какой она обреталась.

В этот момент донесся с моря звук пения. Он прозвучал близко и отчетливо, когда лодка обогнула мыс, и Умэ, подбежав к окну, крикнула, что это объезжает «мисси».

Странно, что я обрадовался миссионеру; но как это ни странно, а это было верно.

– Остайся, Умэ, в этой комнате и не трогайся с места до моего возвращения, – сказал я.

Глава III

Миссионер

Когда я вышел на веранду, миссионерская лодка входила в устье реки. Это был длинный вельбот, окрашенный в белый цвет, с небольшим наметом у кормы. Туземец-пастор сидел у кормы, управляя рулем. Двадцать четыре весла сверкали и погружались в такт песни, которую запевал стоявший под навесом миссионер в белой одежде, с книгой в руке. Это ласкало и зрение, и слух. На островах нет картины красивее миссионерской лодки, с хорошим экипажем и хорошими голосами. Я с полминуты любовался ею, отчасти с завистью, быть может, а затем направился к реке.

К тому же месту стремился с противоположного берега другой человек; но он бежал и попал первым. То был Кэз. Он, несомненно, имел целью отстранить меня от миссионера, который мог бы послужить мне посредником. Но я думал совсем о другом. Я думал о том, как он надул нас относительно брака и пытался наложить руку на Умэ до этого, и один его вид привел меня в бешенство.

– Прочь отсюда, подлый негодяй! – крикнул я ему.

– Что вы сказали? – спросил он.

Я повторил свои слова, приправив их проклятием.

– Если я когда-нибудь поймаю вас на расстоянии шести сажен от моего дома, я пушу пулю в вашу прыщавую рожу.

– У себя в доме можете делать, что угодно, – сказал он. – Я и не думаю туда идти; а здесь место общественное.

– Это такое место, где я имею частное дело, – сказал я, – и не желаю, чтобы меня подслушивала такая собака как вы. Предупреждаю вас – убирайтесь.

– Не принимаю вашего предупреждения, – ответил Кэз.

– Так я вам покажу, – сказал я.

– Посмотрим, – сказал он.

Он был ловок на руку, но не обладал ни ростом, ни силою, и в сравнении со мною это было хрупкое создание. Кроме того, я дошел до высшего предела бешенства и готов был грызть железо. Я хватил его раз-другой так, что у него голова затрещала, и он свалился.

– Довольно с вас? – спросил я. Он смотрел весь бледный, смущенный, и кровь текла по его лицу, точно вино сквозь салфетку. – Ну, что? Довольно с вас? – крикнул я снова. – Отвечайте! И нечего тут валяться, а не то я начну вас пинать ногами.

Он сел, поддерживая голову, – видно было, что она у него кружится, а кровь текла на его куртку.

– На этот раз довольно, – сказал он. И, поднявшись, шатаясь, побрел той же дорогой, по которой пришел.

Лодка причалила к берегу. Я видел, что миссионер сложил книгу и спрятал ее. «Поймет, по крайней мере, что я за человек», – подумал я, смеясь про себя.

За долгие годы жизни на Тихом океане это был мой первый обмен слов с миссионером, не говоря уже о просьбе об одолжении. Я их недолюбливал – ни один коммерсант их не жалуется. Они смотрят на нас свысока и не стараются даже скрыть это; кроме того, они быстро оканализируются и сходятся ближе скорее с туземцами, чем с такими же белыми, как они сами. На мне была нарядная полосатая куртка, я, конечно, оделся прилично, отправляясь к старшинам, но готов был пустить камнем в миссионера, когда увидел его в настоящем мундире из грубой белой парусины, в шлеме, белой рубашке и желтых сапогах. Когда он подошел ближе, с

любопытством посматривая на меня (из-за драки, надо полагать), я заметил, что он смертельно болен, и действительно, у него был только что сильный пароксизм лихорадки на лодке.

– Мистер Терльтон, если не ошибаюсь? – спросил я, так как узнал его имя.

– А вы, должно быть, новый торговец? – сказал он.

– Прежде всего я должен вам сказать, что я не сторонник миссионеров, – сказал я, – и нахожу, что вы и вся братия ваша причиняете большой вред, пичкая туземцев бабьими сказками и всяким вздором.

– Вы вправе думать все, что вам угодно, – возразил он несколько сердито, – но я вовсе не обязан выслушивать ваши мнения.

– Вышло так, что вам пришлось их выслушать, – ответил я. – Сам я не миссионер и не поклонник их; я – купец, самый заурядный, Богом отверженный, низкородивший белолицый и британский подданный из тех, которых вы с удовольствием стерли бы с лица земли. Ясно, надеюсь!

– Да, любезный. Это скорее ясно, чем прилично, – заметил он. – Когда вы протрезвитесь, вы пожалеете об этом.

Он хотел было пройти, но я остановил его. Канаки начали ворчать. Должно быть, им не понравился мой тон, потому что я разговаривал с этим человеком так же свободно, как разговаривал бы с вами.

– Теперь вы не можете сказать, что я вас обманул, – сказал я, – и я могу продолжать. Мне нужна услуга... Мне в действительности нужны две услуги, и если вы потрудитесь оказать мне их, я, может быть, приобрету большее уважение к тому, что вы называете нашим христианством.

Он помолчал минутку, потом улыбнулся.

– Странный вы человек, – сказал он.

– Я таков, каким Бог сотворил меня, – ответил я. – Я себя за джентльмена и не выдаю.

– Я не вполне этому верю, – сказал он. – Что же я могу для вас сделать, мистер...

– Уильтшайр, – подсказал я. – Хотя меня большею частью зовут Уилшир, но пишется Уильтшайр, и так и выговаривается, когда туземцам удастся справиться со своим языком. Что мне нужно? Я сейчас скажу вам первое. Я – то, что вы называете – грешник, а я называю «дрянь», и желаю, чтобы вы помогли мне уладить дело с одной особой, которую я обманул.

Он обернулся к матросам и сказал им что-то по-канакски.

– Я к вашим услугам, – сказал он, – но только на время обеда моих матросов. Я должен ехать гораздо дальше вниз по берегу до наступления вечера. Мне пришлось пробыть до утра в Папа-Малула, а меня завтра вечером ждут в Фалэ-алии.

Я молча повел его к себе и был очень доволен собой в разговоре, потому что я люблю, когда человек сохраняет чувство самоуважения.

– Меня очень огорчила ваша борьба, – сказал он.

– О, это часть истории, которую я желаю вам рассказать, – сказал я. – Это услуга номер два. Когда вы услышите ее, вы скажете мне, огорчены вы или нет.

Мы вошли прямо через магазин, и я был удивлен, что Умэ прибрала обеденные принадлежности. Это было так непохоже на ее привычки, что я понял, что она это сделала из благодарности, и полюбил ее еще больше. Она и мистер Терльтон называли друг друга по имени, и он был с нею внешне очень вежлив. Но я об этом не думал. Они всегда бывают вежливы с канаками и только с нами, белыми, разыгрывают господ; а кроме того, я до сих пор не очень-то нуждался в Терльтонах. Я собирался исправить свою ошибку.

– Дай-ка, Умэ, наше брачное свидетельство, – сказал я. Она опешила. – Полно! Ты можешь мне поверить. Достань его.

Оно, по обыкновению, было при ней. Она, наверно, считала его пропуском в рай и думала, что если она умрет, отдав его, то попадет в ад. Я не видел, куда она его спрятала в

первый раз, и не видел теперь, откуда она его вытащила, – оно точно прыгнуло ей в руку, вроде фокусов Блавацкой в газетах. Но все островитянки это умеют, и я думаю, что они учатся с детства. Я взял у нее свидетельство.

– Меня, видите ли, обвенчал с этой девушкой Черный Джек, – сказал я. – Свидетельство составлено и написано Кэзом; оно представляет собою шикарное литературное произведение, честное слово! С той поры я заметил, что все настроены против жены и против меня, и что, пока я буду жить с нею, торговли мне вести нельзя. Что сделал бы другой человек на моем месте? – спросил я. – Прежде всего, он, вероятно, поступил бы так...

Я изорвал свидетельство и бросил его на пол.

– Ауэ (увы)! – вскрикнула Умэ и всплеснула руками.

– А во-вторых, – продолжал я, взяв ее за руку, – если он был бы тем, что я называю человеком, и кого вы назвали бы человеком, мистер Терльтон, – он привел бы девушку к вам или к другому какому-нибудь миссионеру и сказал бы: «Я неправильно женился на этой женщине, но я отношусь к ней с большим уважением и хочу жениться на ней по-настоящему». Устройте это, мистер Терльтон. И, пожалуй, лучше будет, если вы сделаете это на туземном языке, потому что это будет приятно моей супруге, – сказал я, назвав ее сейчас же настоящим именем жены человека.

Таким образом, нас сочетали браком в нашем собственном доме в присутствии двух матросов в качестве свидетелей. Пастор молился довольно долго, хотя не так долго, как некоторые, и пожал нам обоим руки.

– Мистер Уильтшайр, – сказал он, окончив обряд и выпроводив свидетелей, – позвольте мне поблагодарить за доставленное мне живейшее удовольствие. Редко совершал я брачную церемонию с большим душевным волнением.

Это называется разговаривать! Он еще много говорил по этому поводу, и я готов был выслушать все имеющиеся у него в запасе сладкие речи, так как чувствовал себя отлично, но Умэ была чем-то озабочена во время венчания и прямо спросила:

– Как это вы ушибли руку?

– Спросите голову Кэза, любезная супруга, – ответил я.

Она завизжала и запрыгала от радости.

– Не особенную-то христианку вы сделали из нее, – заметил я мистеру Терльтону.

– Мы не считали ее одной из худших, – возразил он, – в то время как она жила в Фалэ-алии, и если Умэ питает злобу, то я склонен думать, что у нее есть серьезная причина.

– Вот мы и добрались до одолжения номер два, – сказал я. – Я вам расскажу нашу историю и посмотрю, не сможете ли вы несколько разъяснить ее.

– Длинная история? – спросил он.

– Да, хорошенький рассказец! – воскликнул я.

– Хорошо. Я пожертвую вам все находящееся в моем распоряжении время, – сказал он, взглянув на часы. – Но, скажу вам откровенно, я с пяти часов утра ничего не ел, и если вы не можете накормить меня чем-нибудь, то мне, пожалуй, не придется поесть раньше семи-восьми часов вечера.

– Мы угостим вас обедом, клянусь Богом! – воскликнул я.

Я несколько попался со своей клятвой, когда дошло до дела; попался также и миссионер, надо полагать, хотя он поблагодарил нас и сделал вид, что смотрит в окно.

Мы на скорую руку приготовили ему угощение. Мне пришлось поручить хозяйке принять для виду участие в этом деле, и ей же я предоставил приготовление чая. Вряд ли когда приходилось мне пить такой чай, какой вышел у нее. Это было не самым худшим, потому что она, считая соль extra европейским вкусом, превратила мое тушеное мясо в морскую воду. Мистер Терльтон получил из него обед, сильно приправленный перцем, но зато его все время занимали разговором. Во время приготовления обеда и после, когда он притворялся, что ест, я

рассказывал ему о Кэзе, о берегу Фалеза, и задаваемые им вопросы показывали, что он следит за рассказом.

– Боюсь, что у вас опасный враг, – сказал он наконец. – Кэз очень умен и, кажется, действительно зол. Надо вам сказать, что я около года следил за ним и вынес самое скверное впечатление из наших встреч. В то время, когда последний представитель вашей фирмы так неожиданно бежал отсюда, я получил от Нему, туземного пастора, письмо с просьбой приехать при первом удобном случае в Фалеза, так как вся его паства приняла католичество. Я вполне доверяю Нему, но боялся показать, как легко нас было обмануть. Всякий, слушая его проповеди, убедился бы, что это удивительно талантливый человек. Все островитяне легко приобретают некоторое красноречие и умеют осветить энергией и фантазией полученные ими из вторых рук проповеди. Проповеди же Нему принадлежали лично ему, и я не могу отрицать, что нашел их довольно изящными. Сверх того, он интересовался и мирскими делами, не боялся труда (он хороший плотник) и сумел завоевать большое уважение среди соседних пасторов, так что мы полушутя, полусерьезно прозвали его епископом Востока. Одним словом, я гордился этим человеком. Смущенный его письмом, я воспользовался случаем и приехал сюда. Утром, до моего приезда, Вигур был отправлен на судно «Лайон». Нему был в отличном настроении, по-видимому, стыдился своего письма и совершенно не желал объяснить его. Этого, конечно, я допустить не мог. и он наконец признался, что его смутило то, что его прихожане крестятся, но с тех пор, как ему объяснили значение крестного знамения, он успокоился, потому что у Вигура был «дурной глаз» – вещь обыкновенная в одном европейском государстве, называемом Италией, где такого рода дьявольский глаз часто поражает людей насмерть, а крестное знамение есть заклинание против его силы.

– Я, Мисси, объясняю так, – сказал Нему. – Европейское государство – государство папы, и дьявол «Дурной Глаз» может быть дьяволом католическим или, по крайней мере, обычай у него католические. Я и рассудил: если употреблять крестное знамение на католический лад – это будет грешно; а если прибегать к нему только, чтобы защитить людей от дьявола, что само по себе безвредно, то и самое крестное знамение безвредно. Как бутылка, в которой нет ни хорошего ни дурного, так крестное знамение ни хорошо ни дурно. Если бутылка полна джином – дурен джин, и если делать крестное знамение как язычник, – дурно язычество. – И, как подобает туземному пастору, он привел текст об изгнании бесов.

– Кто вам сказал о «Дурном Глазе»? – спросил я его.

Он признался, что ему сказал Кэз. Боюсь, что вы сочтете меня ограниченным, мистер Уильтшайр, но, признаюсь, меня это огорчило. Я не допускаю мысли, чтобы купец, каким бы он хорошим человеком ни был, мог советовать или иметь влияние на моих пасторов. Кроме того, ходили слухи о старом Адамсе, о его отравлении, ему я не придавал большого значения, а в эту минуту я припомнил их.

– А этот Кэз, – говорю, – праведную жизнь ведет?

Он признался, что нет, потому что он хотя и не пьет, но развратничает с женщинами и религии не имеет.

– В таком случае, – говорю, – я думаю, что чем меньше вы будете с ним, тем лучше.

Но не так-то легко было отделаться от такого человека, как Нему. У него сию же минуту была готова картина.

– Вы, Мисси, рассказывали, что бывают люди – не пасторы, не священники, – которые знают много такого, что полезно знать: о деревьях, например, о животных, о книгопечатании, о металлах, которые обжигают для выделки из них ножей. Такие люди учили вас в вашем колледже, и вы, научившись от них, не можете считать, что учиться грешно. Кэз, Мисси, это мой колледж.

Я не нашелся, что ему сказать на это. Вигуру пришлось уехать из Фалеза, очевидно, по проискам Кэза, при весьма вероятном соучастии моего духовника. Я вспомнил, что Нему же

успокоил меня относительно Адамса и приписал слухи злобе пастора. Я понял, что мне следует навести справки из беспристрастного источника. Есть здесь старый плут старшина Фейесо, которого вы, вероятно, видели сегодня на совете; он всю свою жизнь был беспокойным и пройдохой, и колючкой для миссии и острова. Но, несмотря на это, он весьма проникателен и, исключая политику и личные проступки, правдив. Я пошел к нему, рассказал ему, что слышал, и просил его быть откровенным. Я не думаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось иметь более неприятное свидание. Вы, быть может, поймете меня, мистер Уильтшайр, если я вам скажу, что отношусь совершенно серьезно к сказкам старых баб, которые вы мне поставили в упрек, и так же забочусь о благе этих островов, как заботитесь вы о покровительстве вашей миленькой жены. Припомните, что я считал Нему образцом, что я гордился им, как первым зрелым плодом миссии. И вот мне говорят, что он подпал под влияние Кэза. Начало его не было развращающим; оно началось, несомненно, со страха и уважения, вызванных плутовством и притворством, но меня возмутило, что сюда примешался другой элемент, что Нему сам вздумал заниматься торговлей и сильно задолжал Кэзу. С трепетом слушал он все, что говорил ему купец; что не только он один, но многие в селении находятся в подобном подчинении, хотя наибольшее влияние имело положение Нему, так как Кэз мог делать больше зла через Нему, и, имея последователей среди старшин и пастора в своей власти, этот человек стал чуть не властелином деревни. Вам известно кое-что о Вигуре и Адамсе, но, вероятно, не приходилось слышать о предшественнике Адамса – Ундерхилле. Это, помню, был спокойный, кроткий старикашка. Нам сообщили о его скоропостижной смерти – белолицые очень часто умирают скоропостижно в Фалеза. У меня кровь застыла в жилах, когда я узнал правду. Его разбил паралич. Все в нем умерло, кроме одного глаза, которым он постоянно подмигивал. Народ напугали, что беспомощный старик стал дьяволом, а этот негодяй Кэз нагонял ужас на туземцев, притворно разделяя страх и уверяя, что не смеет идти к нему один. Наконец, в конце деревни выкопали могилу и похоронили в ней живого человека. Мой пастор Нему, воспитанник мой, возносил молитвы при этой гнусной сцене.

Я сам чувствовал себя в затруднительном положении. Может быть, я обязан был обвинить Нему и сместить его. Может быть, я так думаю теперь, но в то время это казалось менее ясным. Он пользовался большим влиянием, оно могло оказаться сильнее моего. Туземцы склонны к суеверию, и, возмутив их, я, быть может, только поддержал и распространил бы эти опасные фантазии. Нему, кроме того, вне этого проклятого влияния был хорошим пастором, способным и религиозным человеком. Где мне взять лучшего? Как найти такого же хорошего? В ту минуту, когда падение Нему было только что обнаружено, весь труд моей жизни показался мне насмешкой, надежда умерла во мне. Я охотнее исправил бы явных дураков, чем отправляться на поиски других, которые, наверно, окажутся еще хуже. Самое лучшее – избежать скандала, если это только возможно. Справедливо или несправедливо, я решил покончить дело мирным путем. Всю ночь я беседовал с заблуждающимся пастором, укорял его в невежестве и недостатке веры, в непристойности его поступка, в грубом содействии убийству, в наивном возбуждении из-за пустяков. Задолго до рассвета он уже стоял на коленях и заливался горячими слезами, по-видимому, искреннего раскаяния. В воскресенье утром я с кафедры сказал проповедь о первых царях, о вспыльчивости, о землетрясениях, о голосе, отличающем истинную духовную силу, и упомянул, насколько мог откровенно, о последнем событии в Фалезе. Эффект получился сильный, но он еще возрос, когда Нему, в свою очередь, взошел на кафедру и сознался, что в нем недостает веры и умения руководить, и признал свой грех. Пока все шло хорошо, но тут примешалось одно несчастное обстоятельство. Приближалось время нашего, здешнего «мая», когда туземцы вносят миссионерские подати. Мне выпала на долю обязанность упомянуть об этом, что дало моему врагу шанс, которым он не замедлил воспользоваться.

Весь ход дела был сообщен Кэзу сейчас же по окончании службы, и он в полдень улучил случай встретиться со мною среди деревни. Он шел с таким решительным враждебным видом, что я почувствовал неудобство избегнуть его.

– Вот святой человек! – сказал он на туземном языке. – Он проповедовал против меня, но этого не было в сердце его. Он проповедовал любовь к Богу, но это было у него только на языке, а не в сердце его. Хотите знать, что было в сердце его? – крикнул он. – Я вам покажу! – И, проведя рукой по моей голове, он сделал вид, что поймал доллар и поднял его на воздух.

В толпе поднялся тот шум, каким полинезийцы встречают чудо.

Что до меня касается, я был озадачен. Это был самый заурядный фокус, который я двадцать раз видел на родине; но как убедить в этом поселян? Я пожалел, что не учился фокусам вместо еврейского языка, чтобы иметь возможность отплатить этому плуту его же монетою. Молчать было нельзя, но лучшее, что я нашел сказать, было слабо.

– Я побеспокою вас просьбою не дотрагиваться до меня, – сказал я.

– Я и не думаю, – ответил он, – и не желаю лишать вас ваших долларов. Вот он! – сказал он, швырнув доллар к моим ногам.

Мне говорили, что он пролежал три дня на том месте, где упал.

– Я должен сказать, что это было ловко сделано, – заметил я.

– О, он умен, – сказал мистер Терльтон, – и сами можете судить, насколько опасен. Он был виновником ужасной смерти разбитого параличем, его обвиняют в отравлении Адамса, он выжил отсюда Вигура ложью, которая могла довести до убийства, и, вне всякого сомнения, порешил отделаться от вас. Каким образом он думает это сделать, нам не угадать, только, будьте уверены, это что-нибудь новое. Его изобретательности и находчивости конца нет.

– Он сам как будто боится, – сказал я. – Но чего же, в конце концов?

– А сколько тонн копры можно добыть в этом участке? – спросил миссионер.

– Пожалуй, тонн шестьдесят, – сказал я.

– Какой барыш для местного торговца? – спросил он.

– Можете считать три фунта, – сказал я.

– Ну, и рассчитайте, сколько он получит, – сказал мистер Терльтон. – Но гораздо важнее расстроить его замыслы. Он, очевидно, распустил какие-нибудь слухи про Умэ, чтобы изолировать ее и удовлетворить свое незаконное желание. Потерпев неудачу и видя появление на сцене нового соперника, он воспользовался ею иначе. Теперь нужно прежде всего узнать относительно Нему. Умэ, как поступил Нему, когда люди отступились от вас и вашей матери?

– Ушел прочь, – ответила Умэ.

– Боюсь, как бы он снова не принялся за старое, – сказал мистер Терльтон. – Что я могу для вас сделать? Я поговорю с Нему, предупрежу его, что за ним наблюдают. Будет очень странно, если он допустит что-либо, когда ему велели быть настороже. В то же время предупреждение может не удалиться, и тогда вам нужно обратиться к кому-нибудь другому. У вас имеются под рукою двое, к которым вы можете обратиться: во-первых, патер, который может защитить вас в интересах католицизма; католиков здесь очень мало, но в их числе двое старшин, а затем старик Фейезо. Будь это несколько лет назад, вам никого бы не надо было, кроме него; но в настоящее время его влияние значительно ослабло, перешло в руки Миа, а Миа, боюсь, не из шакалов ли Кэза. Наконец если дело примет худший оборот, пришлите кого-нибудь или приезжайте сами в Фалэ-алии, и хотя я не должен быть в этой части острова раньше, чем через месяц, я посмотрю, что можно будет сделать.

Так простился мистер Терльтон. Полчаса спустя в лодке миссионера пели матросы и сверкали весла.

Глава IV

Дьявольская работа

Прошло около месяца, и сделано было немного. В вечер нашей свадьбы к нам зашел Галош; он был чрезвычайно любезен, и с тех пор у него вошло в привычку заглядывать к нам, когда стемнеет, и выкуривать свою трубку. Он, конечно, мог беседовать с Умэ и в то же самое время усердно учил меня туземному и французскому языкам. Он представлял из себя нечто вроде старого шута, самого грязного, какого вы только можете себе представить, и туманил меня иностранными языками хуже чем во время вавилонского столпотворения.

Это было нашим развлечением, и я чувствовал себя менее одиноким, хотя пользы от него не было, потому что, несмотря на то, что он приходил, сидел, болтал, в магазин нельзя было заманить ни одного из его прихожан, и если бы я не принялся за другое занятие, то в доме не было бы ни фунта копры. У Февао, матери Умэ, было штук двадцать производительных деревьев. Работы у нас, как у отверженных, никакой не было, и вот мы, обе женщины и я, стали выделывать копру собственноручно. Копра такая получалась, что просто слюнки текли, пока ее готовили. Я до тех пор не понимал, как надували меня туземцы, пока не изготовил четырехсот фунтов собственными руками; а легка была моя копра до того, что я охотно сам бы принялся за ее вымочку.

Во время работы канакки забегали иногда посмотреть на нас. Как-то один раз пришел и Черный Джек. Он стоял среди толпы туземцев, хохотал, корча веселого комика и большого барина. Меня это взбесило.

– Слушайте, эй вы, Черный Джек! – крикнул я.

– Не с вами говорят, саа!⁴ – откликнулся негр. – Я разговариваю с джентльменами.

– Я знаю. Да я-то обращаюсь к вам, мистер чернокожий, – сказал я. – Я желаю знать, видели ли вы головное украшение, полученное Кэзом с неделю тому назад.

– Нет, саа, – ответил он.

– Прекрасно! В таком случае, я сейчас вам покажу его родного брата, только чернокожего, и покажу через две минуты!

Я стал медленно подходить к нему с опущенными руками, и только в моих глазах отражалось волнение, если бы кто-нибудь потрудился посмотреть на них.

– Вы жалкий, хвастливый трус, саа, – сказал он.

– Увидите! – говорю.

Между тем он, вероятно, подумал, что я подошел достаточно близко, и так начал улепетывать, что ваше сердце порадовалось бы при виде его бегства. Так я больше и не видел этого презренного негодяя до той поры, о которой я собираюсь вам рассказать.

Одним из главных моих занятий была охота на кого попало в лесах, богатых всевозможной дичью, как говорил Кэз. Я упоминал о мысе, отгораживавшем с востока и деревню, и мое жилище. Тропинка вела вдоль него к ближайшей бухте. Тут дул ежедневно сильный ветер, и бурун набегал на берег бухты. Небольшой скалистый холм разделял долину на две части и прилегал к берегу. Прилив заливал его с наружной стороны, преграждая проход. Все это место было окаймлено лесистыми горами. К востоку границу составляли покрытые растительностью кручи, низшие части которых являлись вдоль моря просто черными утесами, испещренными киноварью; вершины же их состояли из глыб, поросших большими деревьями. Некоторые из них были ярко-зеленые, другие красные, а береговой песок черен, как ваши сапоги. Множе-

⁴ Негры выговаривают слово *сэр* (sir) – *саа* (прим. перевод.).

ство птиц, некоторые белоснежные, парили над бухтой, и среди бела дня летали, скрежеща зубами, вампиры.

Долгое время я ограничивался этой местностью и дальше не шел. Другой дороги и признака не было, и кокосовые пальмы у конца долины были, таким образом, последними, потому что все «око» острова, как называли туземцы его подветренную сторону, было пустынно. От Фалеза вплоть до Папа-малулу не видно было ни дома, ни человека, ни посаженного плодородного дерева. Каменная гряда удалена, берега отвесные, океан бушует прямо среди утесов, – такое место едва ли может быть пристанью.

Я должен вам сказать, что, с тех пор как я стал ходить в лес, туземцы, не отваживаясь приближаться к моему магазину, охотно проводили со мною часть дня там, где никто не мог их видеть. Я уж начал кое-что понимать по-туземному, а большинство из них знало несколько английских слов, так что я мог поддерживать отрывочный разговор, без особенной пользы, разумеется; но у них не было уже такого злобного чувства. Пренеприятная вещь быть принятым за прокаженного.

Раз, в конце месяца, я сидел с одним канаком у опушки леса, выходящего на восток. Я дал ему вволю табака, и мы беседовали как могли. Он действительно знал по-английски больше других.

Я спросил:

– Нет ли дороги на восток?

– Одно время был дорога, – сказал он. – Теперь он забыт.

– Никто туда не ходит? – спрашиваю.

– Нехорошо, – говорит, – очень много дьяволов живет там.

– Ого! – говорю. – Так этот лес полон дьяволов?

– Мужчина – дьявол, женщина – дьявол, очень много дьяволов. Все время там. Человек он пойдет туда, он не придет назад, – сказал мой приятель.

Я подумал: «Если человек так хорошо осведомлен о дьяволах и так свободно говорит о них, то не мешает выудить кое-какие сведения относительно себя и Умэ».

– Вы меня считаете дьяволом? – спросил я.

– Не дьявол, а все равно дурак, – сказал он успокоительно.

– Умэ, она дьявол? – спросил я снова.

– Нет, нет, не дьявол. Дьявол живет в лесу, – сказал молодой человек.

Я смотрел на бухту и видел, как передняя завеса лесов вдруг открылась, и на черный берег, освещенный солнечным светом, вышел Кэз с ружьем в руках. Он имел блестящий вид в своей легкой, почти белой куртке со сверкающим ружьем, и земляные крабы разбежались от него к своим норам.

– Эге, приятель, вы сказали мне неверно, – сказал я. – Эз пошел, но пришел назад.

– Эз не то же самое. Эз – Тиаполо, – сказал мой друг и со словом, «прощайте» скрылся среди деревьев.

Я проследил, как Кэз прошел берегом и мимо меня домой в Фалеза. Он шел, задумавшись, что должно быть знали птицы, бегавшие около него по песку или кружившиеся и щебетавшие у него над самым ухом. По движению губ я понял, что он разговаривает сам с собой, а чем я был ужасно доволен, так это тем, что у него еще виднелось на лбу мое торговое клеймо. Скажу по правде, мне пришло в голову пустить ружейный заряд в его противную рожу, но у меня было лучшее намерение.

И здесь, и по дороге домой я все время твердил то туземное слово, которое я помнил по фразе: «Полли поставь котелок и приготовь нам чай» – теа-полло.

– Умэ, – спросил я, вернувшись домой, – что значит Тиаполо?

– Дьявол, – ответила она.

– Я думал, он называется Эту, – сказал я.

– Эту другой сорт дьявола. Живет в лес, есть канака. Тиаполо – важный, главный дьявол, живет дома как христианский дьявол.

– В таком случае, я дальше не подвинулся, – огорчился я. – Как может Кэз быть дьяволом?

– Не то, – пояснила она. – Эз принадлежит Тиаполо. Тиаполо очень любит Эза, все равно как сына. Положим, Эз что-нибудь хочет, Тиаполо ему сделает.

– Это очень удобно Эзу, – сказал я. – Что же он для него делает?

Последовал бессвязный рассказ всевозможных историй, из числа которых многие (вроде вынутого из головы мистера Терльтона доллара) были для меня совершенно понятны, но в других я ровно ничего не понимал. То, что больше всего удивляло канаков, меня удивляло меньше всего: а именно то, что он ходил по пустырю, населенном Эту. Некоторые из наиболее смелых сопровождали его и слышали, как он разговаривал с умершими, отдавал им приказания и невредимо возвращался, охраняемый покровителями. Некоторые говорили, что у него там есть церковь, где он поклоняется Тиаполо, и Тиаполо является ему; другие клялись, что колдовства тут вовсе нет, что он совершает чудеса силою молитв и что церковь вовсе не церковь, а тюрьма, в которой он содержит одного опасного Эту. Нему как-то раз ходил с ним в лес и вернулся, славословя Бога за эти чудеса. Наконец-то начало для меня выясняться положение этого человека и способы, которыми он достиг его, и хотя он был твердым орехом для раскалывания, я в уныние отнюдь не впадал.

– Отлично, – сказал я, – я сам пойду посмотреть на место поклонения мистера Кэза, и мы увидим, как он поклоняется.

При этом Умэ ужасно заволновалась. Если я пойду в лес, так никогда не вернусь: без покровительства Тиаполо туда никому нельзя ходить.

– Положусь на Божие покровительство, – сказал я. – Я хороший малый, Умэ, как мужчина, и надеюсь, Бог научит меня.

Она немножко помолчала.

– Я думаю, – начала она торжественно и затем скороговоркой закончила: – Виктория важный старшина.

– Еще бы! – сказал я.

– Она вас очень любит? – спросила она снова.

Я ответил осклабясь, что считаю старушку несколько пристрастной к себе.

– Отлично! – сказала она. – Виктория важный старшина и вас очень любит, а помочь вам в Фалезе не может – очень далеко отсюда. Миа – маленький старшина, живет здесь. Положим, он вас любит, он все вам сделает. Так вот Бог и Тиаполо: Бог – он важный, большой старшина, у него очень много дела; Тиаполо – маленький старшина, он тоже очень любит показывать вид, что много работает.

– Я бы сдал тебя в руки мистеру Терльтону, – сказал я. – Твое богословие невыносимо.

Как бы ни было, мы целый вечер разбирали это дело. Передавая мне истории о пустыне и ее опасностях, она сама пугалась чуть не до припадка. Я и четверти, конечно, не помню, так как придавал ее рассказам очень мало значения, но два из них послужили мне средством к разъяснению. Милых в шести вверх по берегу есть небольшая бухта, которую они называют Фанга-анана – гавань, полная пещер. Я сам видел ее с моря настолько близко, насколько мог уговорить своих молодцов подъехать к ней. Она представляет собою маленькую полоску желтого песка. Над нею висят мрачные скалы с темными жерлами пещер. Утесы покрыты огромными деревьями и спускающимися вниз лианами, а в одном месте, около середины, льется каскадом ручей. Ну, так вот около этого места ехало в лодке шестеро молодых людей фалезских, «все красивые», по словам Умэ, и это погубило их. Дул сильный ветер, волнение было на море большое. Они все устали, им хотелось пить, и вот они увидели Фанга-анана и светлый ручей. Решили причалить, добыть напиться – они все были народ смелый, безрассудный, кроме самого молодого, по имени Лоту. Он был очень молодой и очень умный господин и уве-

рял, что они с ума сошли, говорил, что это место отдано духам, дьяволам и покойникам, что нет живой души ближе, чем на шесть миль в одну сторону и на двадцать миль в другую. Но они смеялись над его словами и, так как их было пятеро против одного, поехали, причалили и вышли на берег. Место было изумительно красивое, говорил Лоту, и вода превосходная. Они ходили вокруг, но нигде не было дороги, по которой можно было бы взобраться на утесы, что их успокоило, и они уселись у подошвы их угоститься привезенной провизией. Только они расселись, как из одной пещеры вышло шесть таких красавиц, каких вряд ли когда-либо можно было видеть, с цветами в волосах, прекрасной грудью и в ожерельях из красных семян. Они начали шутить с молодыми людьми, а те начали шутить с ними, все, кроме Лоту, Лоту, понимая, что живой женщины в таком месте быть не может, побежал, бросился в лодку, закрыл лицо руками и начал молиться. Молился он все время, пока дело не кончилось; потом пришли его приятели, подняли его и снова выехали в море из совершенно пустой бухты, и ни слова о шести дамах. Но что больше всего испугало Лоту, это то, что ни один из пятерых не помнил ничего из того, что произошло, только все они были как пьяные: пели, хохотали, боролись. Ветер усилился, и море поднялось необыкновенно высоко. Погода была такая, когда всякий островитянин поворачивает спину и бежит домой в Фалезу, а эти пятеро как сумасшедшие натянули все паруса и направили лодку в море. Работал один Лоту, никто и не думал помочь ему; все продолжали петь, спорить, говорили какие-то недоступные для понимания вещи, и говоря их, громко хохотали. Так весь остаток дня Лоту боролся за свою жизнь на лодке, облитый потом и холодной морскою водою, и никто не обращал на него внимания. Против всяких ожиданий, они в страшную бурю благополучно добрались до Папа-малулу, где пальмы скрипели, а кокосовые орехи летали как пушечные ядра вокруг деревни. В ту же ночь все пятеро молодых людей заболели, и ни одного разумного слова от них не слышали до самой смерти.

– Ты хочешь сказать, что веришь подобным рассказам? – спросил я.

Она ответила, что случай этот всем хорошо известен, а для молодых людей даже зауряден, только это был единственный случай, что пять молодых людей были сразу убиты любовью дьяволих. Это волновало весь остров, и надо было быть безумной, чтобы сомневаться.

– За меня тебе, во всяком случае, бояться нечего, – сказал я. – Мне дьяволихи не нужны: нужна мне единственная в мире женщина, и эта женщина – ты, жenuшка.

Она возразила на это, что бывают дьяволы в другом роде, что одного из них она видела своими собственными глазами. Отправилась она как-то раз к соседней бухте и подошла, вероятно, чересчур близко к нехорошему месту. Ветви высокого кустарника защищали ее от крутого склона холма; место было плоское, каменистое, заросшее молодыми яблонями четырех-пяти футов вышины. День был пасмурный, дождливого времени года; то порывы ветра обрывали листья и кружили их, то было совершенно тихо. Во время затишья, когда целые стаи птиц и вампиров кидались как напуганные существа из кустов, она услышала шорох, и из опушки появился между яблонями худой, седой, старый кабан. Он вышел задумавшись как человек. Она, увидя его, вдруг поняла, что это вовсе не кабан, а человек с человеческими думами. Тут она побежала. Кабан за ней, и в то время, как она бежала, слышны были громкие отклики кругом.

– Хотелось бы мне быть там в это время с ружьем, – сказал я. – Пожалуй, кабан так заорал бы, что и сам бы удивился.

Но она сказала, что ружье для подобных случаев не годится, так как это души умерших.

Самое лучшее было вести такой разговор вечером. Разумеется, он не изменил моих взглядов, и на следующий день я с ружьем и хорошим ножом отправился на обследование. Я ходил поблизости от того места, откуда вышел Кэз, потому что если у него действительно было что-нибудь устроено в лесу, то я мог рассчитывать найти тропинку. Начало пустыря обозначалось так называемую стеною, то есть просто искусственно устроенной оградой из груды камней. Говорят, ограда эта тянется через весь остров. Каким образом это узнали, это другой

вопрос, так как вряд ли кто за сто лет совершал путешествие туда; туземцы главным образом держатся моря, и все их селения находятся вдоль берега, а та часть страшно высокая, крутая, скалистая. С западной стороны стены почва очищена, и тут растут и кокосовые пальмы, и восковые яблони, и гуява, и множество нетронь-меня. Лес начинается сразу. Деревья поднимаются высоко как корабельные мачты, лианы спускаются подобно снастям, а в разветвлениях растут похожие на губки дрянные орхидеи. Непоросшие места имеют вид кучи валунов. Я видел много молодых голубей, которых мог бы настрелять, да пришел-то я туда с иною целью. Масса бабочек порхала над землей, подобно мертвым листьям. Иногда доносились голоса птиц, иногда над головой шумел ветер, и все время слышался шум моря.

Трудно передать в рассказе оригинальность местности, это поймет только тот, кто сам бывал в большом лесу. В самый ясный день там всегда пасмурно. Кругом, куда ни помотришь, ничего не видать, все загорожено деревьями; ветви сплетаются как пальцы на руках; прислушиваться станешь – слышится что-нибудь новое: то мужской разговор, то детский смех, то удары топора над головой, то что-то вроде быстрых, подкрадывающихся шагов, что побуждает вскочить и искать оружие. Все это прекрасно – говорить себе, что ты один, что кроме деревьев и птиц никого нет; убедить себя невозможно, когда, куда ни повернись, все будто живет и смотрит. Не думайте, что я был расстроен рассказами Умэ, я ни в грош не ставлю туземных рассказней, а просто в лесу это вещь обыкновенная.

Когда я добрался до вершины холма, а лес в этом месте идет подъемом, как лестница, – подул сильный ветер, заколыхал листья, заставил их раздвинуться и пропустить солнце. Это мне было больше по душе. То был обычный шум и пугаться было нечего. Таким образом дошел я до места зарослей так называемого дикого кокосового ореха, чрезвычайно красивого с его пурпурными плодами, и вдруг в ветре услышал звуки пения, подобного которому никогда не слышал. Напрасно старался я уверить себя, что это шум листвы, я знал, что это не то; напрасно я говорил себе, что это птица, я не знал птицы, которая пела бы таким образом. Звуки росли, поднимались, замирали вдали и снова усиливались. Я подумал, что это похоже, будто кто-то плачет, только приятнее; то мне казалось, что я слышу арфы. В одном был уверен, что звуки были чересчур сладки, чтобы быть подходящими для подобного места. Можете смеяться, если угодно, но, признаюсь, мне пришли на ум шесть красавиц с пурпуровыми ожерельями, вышедшие из пещеры Фанга-анана, и я подумал, не так ли пели и они. Мы смеемся над туземцами и их суеверием, а посмотрите, как их перенимают торговцы, люди хорошо образованные, служившие иногда бухгалтерами и клерками в Старом Свете! По-моему, суеверия вырастают подобно плевелам, и, стоя здесь, я дрожал, заслышав эти вопли.

Вы можете назвать меня трусом за то, что я испугался, но я считал себя достаточно храбрым, так как продолжал подниматься. Поднимался я очень осторожно, со взведенным курком, осматриваясь, как охотник, ожидая увидеть сидевшую где-нибудь в кустах молодую женщину и решившись в случае встречи пустить в нее заряд. Пройдя не особенно далеко, я увидел странную вещь: сильный порыв ветра раздвинул листья, и передо мною мелькнуло на секунду что-то, висевшее на дереве. Затем порыв стих, и листья сомкнулись. По правде сказать, я приготовился увидеть Эту. Для меня было бы безразлично увидеть его в образе кабана или в образе женщины; беспокоило меня то, что это было что-то квадратное, и мысль о живом и поющем квадрате сбивала меня с толку. Я вынужден был на минуту остановиться, чтобы удостовериться, действительно ли с этого самого дерева раздавалось пение. Затем я стал понемногу приходить в себя.

– Если это действительно верно, – сказал я, – если это такое место, где поют четырехугольные вещи, то я во всяком случае поднимусь. Повеселюсь за свои деньги.

Но я подумал, что, пожалуй, хорошо попробовать помолиться, а потому встал на колени и громко молился. Все время, пока я молился, странные звуки раздавались с дерева, поднима-

ясь, опускаясь, изменяясь как музыка, только вы сейчас же увидели бы, что тут что-то нечеловеческое, ничего такого, что вы могли бы насвистать.

Окончив, как следует, молитву, я положил ружье, взял в зубы нож, подошел прямо к тому дереву и начал на него взбираться. Сердце у меня было словно ледяное, я вам скажу; но, поднимаясь, я снова увидел предмет, и это успокоило меня, потому что он мне показался похожим на ящик, а когда я добрался до него, так чуть не упал с дерева от смеха.

Это оказался ящик, и притом ящик из-под свечей с клеймом на одной стороне. На нем были натянуты струны таким образом, что звенели, когда дул ветер. Это называется тирольской или эоловой арфой.

– Хорошо, мистер Кэз, – сказал я, – один раз вы испугали меня, но уж больше, ручаюсь, не испугаете! – Сказав это, я слез с дерева и отправился разыскивать главное капище моего врага, которое, по моим догадкам, не могло быть далеко.

Заросли были в этом месте очень густые. Я под носом у себя ничего не видел и вынужден был пробираться, прибегая к помощи ножа, обрезаю нити лиан и срубая целые деревья, – деревьями я называю их по величине, но, в сущности, то были громадные плевелы, мягкие, как морковь. Я подумал, что когда-нибудь, можно будет очистить это место от растительности, и наткнулся на груды камней. Я моментально понял, что это работа рук человеческих. Бог весть, когда это было сделано, когда брошено, потому что эта часть острова была покинута задолго до появления белых. В нескольких шагах отсюда я увидел разыскиваемую тропинку, узкую, но хорошо утрамбованную, и понял, что у Кэза очень много последователей. Рискнуть взобраться туда с коммерсантом являлось примером модной смелости, и молодой человек едва ли считал себя взрослым, пока его не высекут, во-первых, а во-вторых, пока не увидит дьяволов Кэза. Это весьма похоже на канаков, но с другой стороны, посмотрев на дело иначе, то это также похоже и на белых.

Пройдя по дорожке, я вышел на чистое место и протер себе глаза. Передо мною была стена, в пролом которой входила дорожка. Стена была повалена и очевидно очень старая, но сложена очень умело из крупных камней. Теперь на острове не найдется ни одного туземца, который мог бы мечтать о подобной кладке. Вдоль по верху ее стоял ряд странных фигур, не то идолов, не то пугал. Лица были вырезаны и окрашены, глаза и зубы у них были из раковин, волосы и яркие платья развевались от ветра, некоторые из них приводились в движение дерганьем. Выше к западу есть острова, где подобные фигуры выделывают и по-настоящее время; но здесь, на этом острове, если и делали когда-либо, то теперь применение и самое воспоминание о них давным-давно забыты. Страшно, что все эти пугала были свежи, как только что вынесенные из лавки игрушки.

Тут я вспомнил, что Кэз в первый день говорил мне о своем умении подделывать островские редкости, чем многие коммерсанты заработали порядочные деньги. Я теперь понял всю штуку, понял, что эта выставка служила ему для двойной цели: во-первых, он практиковался в изготовлении диковинок, а во-вторых, пугал приходивших к нему.

Надо вам сказать, (это придает делу еще большую странность), что вокруг меня все время звенели эоловы арфы, и на моих глазах желто-зеленая птица (вероятно, она вила гнездо) начала выщипывать волосы у одной из фигур.

Несколько дальше я нашел лучшую диковинку музея. Раньше всего я заметил искусственный земляной вал с изгибом. Разрыв землю руками, я нашел под землей натянутую на досках парусину, служившую, очевидно, потолком погреба. Он находился как раз на вершине холма, вход в него был между двух скал, вроде входа в пещеру. Я дошел до изгиба и, заглянув за угол, увидел светящееся лицо, огромное, безобразное, как шутовская маска; блеск то усиливался, то ослабевал и по временам дымился.

«Ого, – подумал я, – блестяще окрашено!»

Я должен сказать, что подивился изобретательности этого человека: при помощи ящика инструментов и весьма простых снарядов догадался устроить дьявола в храме. Бедняга-канак, приведенный сюда в сумерки, слыша завывающие вокруг арфы и видя в подземелье это дымящееся лицо, не мог усомниться, что насмотрелся и наслушался дьяволов на всю жизнь. Легко узнать мысли канаков. Вернитесь к своему возрасту от десяти до пятнадцати лет – вот приблизительно канак. Они набожны именно так, как бывают набожны мальчуганы, и большинство из них, так же точно как мальчишки, посредственно честны, хотя находят, что воровать довольно забавно; их легко испугать, и им это нравится. Я помню, у нас в школе был мальчик, занимавшийся делом Кэза. Он все знал, все умел делать. У него не было светящихся картин и эоловых арф, но он смело заявлял, что он колдун, пугал нас так, что у нас душа уходила в пятки, и мы это любили. Мне вспомнилось, как учитель однажды высек его, и как мы все были удивлены, что колдун попался и ревет, как всякий другой. Я подумал: «Надо найти способ порешить так же с мистером Кэзом», и сию же минуту составил план.

Я пошел обратно по тропинке, которую раз нашел, так уж идти-то по ней было совсем легко и просто. Выбравшись на черный песок, я увидел никого иного, как самого Кэза. Я взвел курок, и мы прошли мимо друг друга без единого слова, не спуская глаз один с другого. Пройдя, мы оба повернулись, как солдаты на ученье, и очутились лицом к лицу. У обоих явилась, видите ли, одна и та же мысль, что другой пустит вслед заряд.

– Вы ничего не застрелили? – спросил Кэз.

– Я сегодня не стрелял, – ответил я.

– Ну так черт с вами! – сказал он.

– И вам того же желаю, – не остался в долгу я.

Но мы все-таки продолжали стоять. Ни один не думал двинуться. Кэз засмеялся.

– Нельзя же, однако, стоять здесь весь день, – сказал он.

– Я вас не задерживаю, – ответил я.

Он опять засмеялся.

– Послушайте, Уильтшайр, вы считаете меня дураком? – спросил он.

– Скорее негодяем, если желаете знать, – сказал я.

– Вы находите лучшим, чтобы я застрелил вас здесь на открытом месте? – продолжил он. – Я не стану стрелять. Народ каждый день приходит ловить рыбу. Многие теперь заняты в долине выделкой копры. Человек шесть ловят голубей сзади вас на холме. Они, быть может, в данную минуту следят за нами. Меня это не удивило бы. Даю вам слово, что мне незачем стрелять в вас. С какой стати? Вы мне ничем не мешаете. Вы не добыли себе ни фунта копры, кроме изготовленной вашими собственными руками. Вы работали как раб, как негр. Вы прозябаете, как я это называю, и мне дела нет до того, где вы прозябаете и долго ли будете прозябать. Дайте слово, что не думаете стрелять в меня, и я уйду.

– Вы откровенны и милы, – сказал я. – Я поступлю точно так же. Я не имею в виду убивать вас сегодня. К чему? Дело только начинается. Оно не кончено еще, мистер Кэз. Я уже нанес вам один удар и вижу знак моего кулака на вашей голове до сего блаженного часа. Я подготовил для вас большее – ведь я не паралитик вроде Ундерхилля – и намереваюсь показать вам, что вы встретили достойного вас соперника.

– Глупая манера разговаривать, – сказал он. – Меня вы этим разговором не проймете.

– Отлично. Стойте, где стоите. Я не спешу, вы это знаете. Я могу целый день простоять на берегу; мне это ничего не стоит. У меня нет копры, чтобы я мог хвастать ею. Нет для показа светящихся картин.

Я пожалел, что сказал последнее, но оно вырвалось у меня бессознательно. Я увидел, что это отбавило у него спеси, и он хмуро посмотрел на меня, затем решил, должно быть, узнать суть дела.

– Ловлю вас на слове, – сказал он и, повернувшись, пошел в дьявольский лес.

Я, конечно, дал ему уйти, как обещал, но следил за ним, пока он не скрылся из виду, а затем пошел домой лесом, так как не верил ему ни на грош. Я думал одно, что был порядочным ослом, заставив его быть настороже, и что мне следует исполнить свое намерение, не мешкая.

Вы думаете, что я испытал достаточно волнения для одного утра, но меня ожидал новый сюрприз. Как только обогнул мыс настолько, чтобы увидеть дом, то заметил, что там есть посторонние. Пройдя немного дальше, я уже перестал в этом сомневаться: у дверей сидела на корточках пара вооруженных часовых. Я предположил, что, должно быть, смуты по поводу Умэ достигли высшего предела и что дом мой под караулом, поэтому я подумал, что Умэ уже взяли и что эти вооруженные люди ждут, чтобы точно так же поступить и со мною.

Пройдя некоторое расстояние быстрым шагом, я увидел третьего туземца, сидевшего точно гость, на веранде; Умэ разговаривала с ним как хозяйка. Подойдя еще ближе, я узнал в нем главного старшину Миа и увидел, что он весело улыбается и курит. Что он курил? Не вашу европейскую сигаретку, годившуюся только коту, даже не настоящую огромную с ног сшибательную туземную сигару, которую он может курить, когда сломана его трубка, а одну из моих мексиканских сигар, в чем я мог побожиться. При виде этого сердце мое усиленно забилося, и у меня зародилась безумная надежда, что тревога миновала, и Миа просто зашел ко мне мимоходом.

Умэ указала ему на меня, когда я поднимался вверх, и он встретил меня у моей собственной лестницы, как настоящий джентльмен.

– Вилквили, – сказал он (лучше этого они не могли выговорить моего имени), – я рад.

Островитянин старшина может быть любезен, если захочет, сомнения быть не может. Я увидел, что дело последовало за словом. Умэ без всякого вызова сказала мне: «Они теперь не боятся Эзе, копра принесут». Я вам скажу, что пожал я руку этому канаку, как самому лучшему белому в Европе.

Дело в том, что он и Кэз ухаживали за одной и той же девушкой. Миа заподозрил это и решил устроить торговцу засаду и помешать ему добиться успеха. Оделся сообразно с обстоятельствами, взял с собою для большей гласности двух вооруженных слуг и, дождавшись ухода Кэза из селения, зашел ко мне передать мне свое дело. Он был так же богат, как и могуществен. Он получал, пожалуй, пятьдесят тысяч орехов в год. Я оценивал его владения стоимостью всего побережья острова и еще четвертью сотни выше, а что касается кредита, то я охотно предложил ему все содержимое магазина со всеми приспособлениями, так мне было приятно видеть его. Надо сказать, что он купил по-джентльменски: рису, жестянок и сухарей на целую неделю, а материи кусками. Кроме того, он был премилый, очень веселый; мы с ним откалывали шутки, – больше с помощью переводчика, потому что он весьма слабо понимал по-английски, а мой туземный разговор был еще бесцветен. Я сделал одно открытие: он в действительности никогда не считал Умэ очень опасной и на самом деле не боялся ее, а притворялся верящим из хитрости, думая, что Кэз пользуется большим влиянием в селении и может помочь ему.

Это навело меня на мысль, что мы оба находимся в затруднительном положении. Ему приходилось идти против всего селения, и это могло ему стоить потери авторитета; а мне, после моего разговора с Кэзом на берегу, это могло стоить жизни. Кэз недаром сказал, что покончит со мною, если мне удастся добыть копры. Вернувшись домой, он узнает, что лучшее дело перешло в другие руки. Самое лучшее, что я мог сделать, это, прежде всего, избавиться от смерти.

– Слушай, Умэ, скажи ему, что я очень сожалею, что заставил его ждать, но я ходил в лес смотреть склад Тиаполо Кэза.

– Он хочет знать, испугались ли вы? – перевела Умэ.

Я захохотал.

– Не очень, – сказал я. – Скажи ему, что это просто игрушечная лавка! Скажи, что мы в Англии даем такие штуки для игры детям.

– Он хочет знать, слышали ли вы, как дьявол поет? – спросила она затем.

– Теперь пока я не могу, видишь ли, это устроить, потому что у меня нет струн, – сказал я, – но как только придет первый корабль, я устрою такую же самую штуку здесь, на своей веранде, и он сам тогда увидит, много ли в этом дьявольского. Скажи ему, что как только я добуду струны, я приготовлю одну такую игрушку для его пиканинни. Называется она эоловой арфой. Можешь ему сказать, что это название значит по-английски, что никто, кроме дурака, цента за него не даст.

На сей раз он так был доволен, что попытался снова заговорить по-английски.

– Вы говорить верно? – спросил он.

– Конечно, верно как Библия, – сказал я. – Принеси сюда Библию, Умэ, если она у тебя есть, я поцелую ее. Или вот что лучше, – сказал я, – спроси его, побоится он пойти туда сам днем?

Он, кажется, не боялся и мог бы рискнуть отправиться днем и в компании.

– Значит, дело в шляпе! – сказал я. – Скажи ему, что этот человек обманщик, что все его штуки глупость одна, и если он пойдет туда завтра, так увидит. Но скажи ему, Умэ, чтобы он понял, что если он будет болтать об этом, то это непременно дойдет до Кэза, и я погиб. Я веду его игру, и если он обмолвится хоть одним словом, кровь моя будет у дверей его и послужит ему в осуждение и при жизни, и после смерти.

Она ему передала, и он в подтверждение пожал мне руку, говоря:

– Не рассказывает. Пойдет навверх завтра. Вы мой друг?

– Нет, сэ, не так глуп. Я приехал сюда торговать, скажи ему, а не дружить. А что касается Кэза, так я спроважу этого господина в царство небесное.

И Миа ушел, насколько я мог видеть, вполне довольным.

Глава V

Ночь в лесу

Положение было затруднительное. Надо было разбить Тиаполо раньше следующего дня, и у меня было хлопот полон рот не только с приготовлениями, но и с уговорами. Дом мой походил на клуб рабочих. Умэ убеждала меня не ходить в лес ночью и говорила, что если я пойду, то обратно не вернусь. Вы знакомы с ее доказательствами, вроде королевы Виктории и дьявола, и я предоставляю вам вообразить, был ли я утомлен к вечеру.

Наконец у меня явилась счастливая мысль.

«К чему рассыпать жемчуг перед нею? – подумал я. – Лучше пустить в ход ее собственное оружие».

– Вот что я тебе скажу. Принеси ты мне свою Библию, и я возьму ее с собою. Это принесет мне пользу.

Она клялась, что Библия не поможет.

– Настоящее канакское невежество, – сказал я. – Принеси Библию.

Она принесла ее. Я перевернул первую страницу с заглавием, где, по-моему, должно было быть напечатано по-английски, что и было.

– Вот смотри! – сказал я. – «Лондон. Напечатано для британского и иностранного библейского общества доминиканцев», и число, которого я не могу прочесть благодаря тому, что оно написано римскими цифрами. Ни один черт не подойдет близко к библейскому обществу доминиканцев. Как ты полагаешь, прогоняем мы на родине наших собственных дьяволов? Все цело библейским обществом!

– У вас их нет, я думаю, – сказала она. – Белолицый, он говорил мне, у вас нет.

– У нас нет? – спросил я. – Почему же эти острова наполнены ими, а в Европе нет ни одного?

– У вас нет плодов хлебного дерева, – ответила она.

Я готов был волосы на себе рвать.

– Послушай, жена, – сказал я, – засохни! Ты мне надоела. Я возьму Библию, и она приведет меня аккуратнo как почта, и это мое последнее слово.

Ночь спустилась удивительно темная; облака покрыли небо вместе с солнечным закатом; не видно было ни одной звездочки, и лишь на короткое время показался кусочек луны. В самой деревне с горевшими в открытых домах огнями, с факелами рыбаков, двигавшихся у рифа, было весело, как на иллюминации, но море, горы и лес были совершенно темны. Было, должно быть, часов около восьми, когда я тронулся в путь, нагруженный как мул? Во-первых, тут была Библия, книга величиною с вашу голову, которую я взял по собственной глупости, потом ружье, нож, фонарь и патентованные спички, все нужное; кроме того, в руках масса принадлежностей: здоровенный заряд пороха, пара динамитных бомб и две или три штуки фитилей, которые я вытащил из оловянных футляров.

Как видите, у меня в общем было достаточно материала для хорошенького взрыва! На расходы я внимания не обращал, желая, чтобы дело было выполнено как следует.

Пока я находился на открытом месте и шел при свете лампы, горевшей в моем доме, я чувствовал себя хорошо; но когда я попал на тропинку, стало так темно, что я ничего не видел перед собой, наткнулся на деревья и ругался, как человек, который ищет спички в своей спальне.

Я знал, что зажигать фонарь рискованно, потому что он был бы виден вплоть до самого мыса, а так как туда никто не ходил после того как стемнеет, то об этом заговорили бы и это

могло дойти до Кэза. Однако как мне быть? Приходилось или отказаться от дела и потерять связь с Миа, или зажечь, попытаться счастья и выпутаться из дела как можно хитрее.

Идя тропинкой, я продвигался с трудом, но, выйдя на берег, пришлось бежать, потому что скоро должен был начаться прилив, и чтобы выбраться сухим со своим порохом между прибоем и крутым холмом, нужно было бежать как можно быстрее. И теперь прибой был мне до колен, и я чуть-чуть не упал на камень. Все это время волнение, свежий воздух и запах моря поддерживали мое возбужденное состояние, но когда я попал в лес и начал взбираться по тропинке, я стал спокойнее. Лесные страхи были значительно ослаблены во мне натянутыми струнами и изваяниями, но все же прогулка была печальная, и я думаю, что ученики, поднимающиеся туда, должны были быть порядком напуганы. Свет фонаря, пробиваясь среди всех этих стволов, развилыстых ветвей и переплетавшихся нитей лиан, делал все это место, насколько мог видеть глаз, чем-то вроде сутолоки вращающихся теней. Они бежали вам навстречу, массивные и быстрые, как великаны, затем кружились и исчезали, а то поднимались над головой и улетали, подобно птицам.

Земля светилась засохшими сучьями, как светится спичечная коробка после того, как вы чиркнете спичкой. Точно пот падали на меня с верхних ветвей крупные холодные капли. Ветра и в помине не было, кроме легкого холодного дуновения берегового ветерка, который ничего не шевелил, и арфы молчали.

Я начал различать местность только тогда, когда выбрался из леса диких кокосов и очутился перед пугалами на стене, выглядевшими чрезвычайно оригинальными при свете фонаря с их раскрашенными лицами, глазами из раковин и повисшими волосами и одеждой. Я снял их одно за другим, сложил в кучу на крыше погреба, чтобы и они отправились к сатане вместе с остальным; затем выбрал место за одним из больших камней у входа, закопал порох и обе бомбы и приладил фитили вдоль прохода. Покончив с этим, я взглянул на прощанье на светящуюся голову. Славно она была сделана! «Радуйся! Ты пользуешься расположением», – сказал я. Первою моею мыслью было зажечь фитиль и отправиться домой, потому что темнота, светящиеся гнилушки и тени фонаря наводили на меня тоску; но я знал, где висела одна из арф, и мне стало жаль, что она не взлетит вместе с прочими, и в то же время я чувствовал, что до смерти устал за своим делом и что гораздо приятнее было бы находиться дома за затворенными дверями.

Я вышел из погреба и стал раздумывать. Снизу доносился плеск моря о берег; вокруг ни один листик не шелухнулся. По эту сторону мыса Горн я, пожалуй, был единственным живым существом. Пока я стоял в раздумье, лес будто проснулся и наполнился легким шумом, в котором не было ничего опасного: легкий треск, легкий шорох, но у меня сердце чуть не выскочило, а горло пересохло как сухарь. Испугался я не Кэза, что было бы естественно, но я о Кэзе и не подумал, а что схватило меня резко как спазм, так это бабьи рассказы о чертовках и кабаках-мужчинах. Еще минута, и я побежал бы, но я совладал с собой, сделал несколько шагов вперед, поднял фонарь (как дурак) и осмотрел все вокруг.

Ни по направлению деревни, ни на тропинке ничего не было, но когда я взглянул вглубь, то удивился, как не свалился. Оттуда, из пустоши и сорных трав, вышла чертовка, как раз такая, какую я ее себе представлял. Я видел ее светящиеся голые руки, ее большие глаза, и у меня вырвался такой ужасный вопль, что я подумал, что смерть моя пришла.

– Не кричать! – сказала громким шепотом чертовка. – Зачем вы говорить громким голосом? Погасить свет! Эз идет.

– Боже Всемогущий, ты ли это, Умэ? – сказал я.

– Иое, – сказала она, – я прибежал скоро, Эз сюда скоро.

– Ты пришла одна? Не боялась? – спросил я.

– Ах, очень боялся! – прошептала она, прижимаясь ко мне. – Я думал, умру.

– Не мне смеяться над вами, миссис Уильтшайр, – сказал я со слабой улыбкой, – потому что я сам большой трус на Тихом океане.

Она в нескольких словах рассказала мне, что привело ее. Только я ушел, вошла Февао. Старуха встретила Черного Джека, который несся во всю прыть от нашего дома к Кэзу. Умэ сейчас же, не говоря ни слова, побежала предостеречь меня. Она бежала настолько близко по моим пятам, что фонарь был ее проводником, и на берегу, и потом при свете его среди деревьев она нашла дорогу на холм. Только в то время, пока я был наверху или в погребке, она плутала Бог весть где и потеряла много дорогого времени, боясь крикнуть, чтобы Кэз не настиг ее. От падений в лесу она была совершенно измучена и разбита. Верно, она забралась чересчур далеко к югу и, выйдя оттуда, наконец, во фланг мне, напугала меня так, что и слов не найду, как сказать об этом.

Хотя все это было лучше чертовки, но рассказ ее я нашел довольно серьезным. Негру незачем было находиться около моего дома, если бы ему не поручили караулить.

Я подумал, что мой дурацкий разговор о красках, а может быть и болтовня Миа затянули нас мертвым узлом. Одно было ясно: нам с Умэ приходится провести ночь здесь, домой до утра нельзя и пытаться идти, да и тогда будет безопаснее обойти гору и вернуться позади деревни, а то можно попасть в засаду. Ясно было тоже, что мину следует взорвать немедленно, иначе Кэз может успеть остановить взрыв.

Я прошел в туннель (Умэ крепко держалась за меня), открыл фонарь и зажег фитиль. Он стал гореть как бумага, и я тупо смотрел, как он горит, и думал, что мы взлетим на воздух вместе с Тиаполо, что вовсе не входило в мои планы. Второй фитиль горел лучше, хотя быстрее, чем я бы желал.

Тут я опомнился, вытащил из прохода Умэ, потушил фонарь и поставил его на землю, и затем мы оба пошли ощупью по лесу до безопасного, по моему мнению, места и прилегли у дерева.

– Ну, женушка, не забуду я этой ночи, – сказал я. – Одна беда, что ты трусиха.

Она прижалась ко мне вплотную. Она выбежала из дома в чем была – в коротенькой юбочке – и вся промокла от росы и моря на Черном берегу и теперь дрожала от холода и от боязни темноты и дьяволов.

– Очень страшно, – только и сказала она.

Дальняя сторона холма Кэза спускалась обрывом в соседнюю долину. Мы находились у самого края ее, и я видел светившееся дерево и слышал внизу шум моря. Я не беспокоился относительно положения, не оставившего мне отступления, но боялся изменить его. Я увидел, что сделал большую ошибку, потушив фонарь; следовало оставить его зажженным, чтобы иметь возможность выстрелить в Кэза, когда он выйдет на освещенное им место. Если уж на это не хватило достаточно соображения, то все же бессмысленно было оставить хороший фонарь, чтобы он взлетел на воздух вместе с резными фигурами; вещь принадлежала мне, стоила денег и была очень удобна. Если бы я мог положить на спички, я бы сбегал туда и принес его. Но кто же может положиться на них? Вы знаете, что это за товар. Он годится, пожалуй, для канаков при рыбной ловле, где им приходится действовать быстро и самое большее, чем они рискуют, это ожогом руки, но для человека, желающего устроить взрыв вроде моего, спички сущая дрянь.

Вообще лучшее, что я мог сделать, это лежать смирно, заботиться об удачном выстреле и ждать взрыва. Дело однако было важное. Тьма была основательная, и единственное, что вы могли бы видеть, это противное слабое мерцание гнилушек, не освещавшее ничего, кроме самих гнилушек; что касается звуков, то я, настороживший уши до того, что мог бы услышать, я думаю, как горит фитиль в туннеле, ничего не слышал – тихо было как в гробу. Иногда слышался легкий треск, но близко ли, далеко ли трещало, был ли то Кэз, шедший в нескольких

ярдах от меня, дерево ли сломалось за несколько миль, я знал не больше неродившегося младенца.

И вдруг Везувий разразился. Долго пришлось ждать, но когда взрыв произошел, никто не мог бы требовать лучшего. Сначала точно выпалили из пушки с целым ливнем огня, и в лесу стало так светло, что вы могли бы читать; затем началась тревога: мы с Умэ были полузавалены кучей земли и рады были, что не вышло худшего, потому что один из больших камней у входа в туннель взлетел на воздух, упал футах в двух от того места, где мы лежали, и, ударившись о край холма, полетел вниз в долину. Я увидел, что несколько не рассчитал расстояния или, если хотите, переложил пороха и динамита.

Вслед затем я увидел, что сделал другой промах. Шум взрыва начал замирать, встряхнув остров, блеск пропал, однако тьма не вернулась так, как я ожидал, потому что весь лес был осыпан угольями и головнями от взрыва. Я был тоже окружен ими. Некоторые из них упали в долину, другие попали на верхушки деревьев. Пожара я не боялся, потому что эти леса слишком сырые, чтобы гореть. Тревожило меня то, что местность была освещена, хотя и не особенно ярко, но достаточно, для того чтобы выстрелить, и уголья рассыпались именно так, что Кэз имел то же преимущество, что и я. Я всюду искал его белое лицо, но его и признака не было. Что касается Умэ, то взрыв и огонь, казалось, совсем пришибли в ней жизнь.

В моей игре был один плохой пункт: один из проклятых истуканов упал весь в огне ближе, чем в четырех ярдах от меня. Я очень внимательно осмотрел все кругом. Кэза еще не было, и я решил, что нужно отделаться от этой горящей деревяшки до его прихода, иначе он застрелит меня как собаку.

Первой моей мыслью было подползти, но затем я подумал, что главное дело – быстрота, и привстал, чтобы бежать. В эту самую минуту откуда-то (между мною и морем) раздался ружейный выстрел, и пуля провизжала над моим ухом. Я обернулся, поднялся с ружьем, но у мерзавца был винчестер, и раньше чем я успел увидеть где он, второй его выстрел свалил меня как кегли. Казалось, я взлетел в воздух, затем опрокинулся и с полминуты бессильно пролежал; затем я увидел, что в руках у меня ничего нет, а ружье перелетело через голову при падении. Такое положение, в каком я находился, заставит человека быстро очнуться. Раненый или нет, я повернулся ничком, чтобы ползти за своим оружием. Если вы не пробовали этого проделать, имея раздробленную ногу, то не знаете, что это за боль, и я взвыл как бык.

То был самый несчастный из всех когда-либо воспроизведенных мною звуков. Умэ, как умная женщина, знала, что она только помешала бы, и потому плотно прижалась к дереву, но, услышав мой крик, выбежала вперед. Винчестер щелкнул снова, и она упала. Я сел было, чтобы остановить ее, но видя, что она упала, снова опустился на то место, где лежал, и ощупал рукоятку ножа. Раньше я был расстроен и трусил. Ничего подобного теперь не было. Он свалил мою девочку, и я решил покончить с ним за это. Я лежал, скрежеща зубами и сравнивая шансы. У меня нога сломана, ружья нет, а у Кэза еще десять зарядов в винчестере. Дело казалось безнадежным. Но я не отчаивался и не собирался отчаиваться. Человек этот заслуживает смерти. Довольно долго ни один из нас не трогался с места. Затем я услышал, что Кэз подходит ближе, но чрезвычайно осторожно. Истукан догорел, осталось только кое-где несколько углей, и лес потемнел, сохранив слабый свет, подобный огню догоравших головней. Благодаря ему я и увидел голову Кэза, смотревшую на меня через большую группу папоротников. Эта скотина тоже увидел меня и прицелился из своего винчестера. Я лежал не шевелясь, и как будто всматривался в ствол. То был мой последний шанс, но я думал, что сердце мое готово выскочить из своего местопребывания. Он выстрелил. На мое счастье, прицел оказался неточным, и пуля упала на расстоянии дюйма от меня, засыпав мне глаза мусором.

Попробуйте себе представить, могли бы вы улежать спокойно, когда человек стреляет в вас и делает промах на волосок! А я, к счастью, улежал. Кэз минутку постоял, держа винчестер наготове, потом слегка усмехнулся и стал обходить папоротник.

«Смейся! – подумал я. – Кабы ты обладал благоразумием блохи, ты помолился бы!»

Я скрючился как корабельный канат или как часовая пружина, и как только он подошел ко мне на такое расстояние, что я мог его достать, я схватил его за лодыжку, повалил, и не успел он перевести дух, как я сел на него, несмотря на свою раздробленную ногу. Его винчестер полетел таким же путем, как и мое ружье. Для меня это ничего не значило – теперь я его не боялся. Я мужчина довольно сильный, но я не знал, что такое сила, пока мне не довелось схватить Кэза. Он был ошеломлен своим шумным падением и всплеснул руками как испуганная женщина, а я левою рукою схватил его обе руки. Это заставило его очнуться, и он, как ласочка, вцепился зубами в мою руку. Велика важность! Нога причиняла мне сильную боль при каждом движении. Я вытащил нож и пустил его в дело.

– Наконец-то я добрался до вас! – сказал я. – Вы отправитесь на тот свет с наградой, да еще с какой! Чувствуете острие? Это за Ундерхила! А это за Адамса! А теперь за Умэ! А вот это сразу вышибет из вас вашу мохнатую душу!

С этими словами я что есть силы всадил в него холодную сталь. Тело его задрогало под мною, как пружинный диван. Он испустил что-то вроде продолжительного стога и затих.

«Умер ли ты, хотелось бы мне знать? Надеюсь, умер!», – подумал я, чувствуя головокружение. Но я не хотел упустить случай воспользоваться удачей – его пример был слишком близок для этого – и я старался вытащить нож, чтобы снова всадить его. Кровь брызнула мне на руки, горячая, помню, как чай... Тут мне сделалось дурно, и я упал головой на его рот.

Когда я пришел в себя, темно было, хоть глаз выколи; головни догорели, светились только гнилушки, и я не мог вспомнить ни где я, ни почему мне так больно, ни почему я совсем мокрый.

Затем припомнил и прежде всего позаботился всадить ему нож по самую рукоятку еще раз шесть. Я уверен, что он уже был мертв, но ему это не вредило, а мне доставило удовольствие.

– Теперь я побьюсь об заклад, что ты умер! – сказал я и окликнул Умэ.

Ответа не было. Я сделал было движение, думая пойти поискать ее, шевельнул своей разбитой ногой и снова потерял сознание.

Когда я вторично пришел в себя, тучи рассеялись, за исключением нескольких облачков, белых как хлопчатая бумага. Возшла луна – тропическая луна; на родине луна превращает лес в черный, а здесь, при этой золотой частице ее, лес являлся зеленым как днем. Ночные или, вернее, утренние птицы звенели долгими, точно соловьиными песнями.

Я увидел покойника, на котором я все еще полулежал, смотревшего прямо вверх своими открытыми глазами, не бледнее, чем он был при жизни, а немножко дальше лежавшую на боку Умэ. Я кое-как добрался до нее и, добравшись, увидел, что она совсем очнулась и плачет, всхлипывая не громче какого-нибудь насекомого. Она, должно быть, боялась плакать громко из-за Эту. Ранена она была не особенно тяжело, но напугана невероятно. Она давно пришла в себя, но, не слыша ответа, вообразила, что мы оба умерли, и лежала с тех пор, боясь шевельнуть пальцем. Пуля задела ей плечо, и она потеряла большое количество крови, но я ей перевязал как следует рану куском своей рубашки и надетым на мне шарфом, положил ее голову на свое здоровое колено, прислонился спиной к дереву и приготовился ждать до утра.

Умэ не принесла мне ни пользы, ни удовольствия, а только прижалась ко мне, дрожала и плакала. Вряд ли мог быть кто-нибудь более напуган, но надо отдать ей справедливость, что и ночь выдалась веселая. Что касается меня, я чувствовал порядочную боль и лихорадку, но пока сидел смирно, было не так худо, и, взглянув на Кэза, я готов был петь и свистеть. Что толковать о еде и питье! Я был вполне сыт, видя этого человека, лежащего мертвым как селедка.

Ночные птицы немного погодя умолкли; затем освещение начало изменяться, восток стал оранжевым, весь лес зазвенел пением как музыкальный ящик, и стало совсем светло.

Миа я не рассчитывал дожидаться – могло случиться, что он раздумает и вовсе не придет. Тем больше я был доволен, когда, час спустя после рассвета, я услышал треск сучьев и голоса канаков, подбодрявших себя смехом и пением.

Умэ быстро села при первом слове песни, и мы увидели повернувшую с тропинки толпу с Миа во главе, за которым шел белый человек в сутане. То был мистер Терльтон, вернувшийся вчера поздним вечером в Фалеза. Лодку свою он оставил и последнюю дистанцию прошел пешком с фонарем.

Они похоронили Кэза на поле славы, в той самой норе, где он хранил свою дымящуюся голову. Я ждал, пока дело не было окончено. Мистер Терльтон помолился, что я нашел глупым; но я обязан сказать, что он очень печально смотрел на будущность возлюбленного усопшего и как будто имел собственные идеи об аде. Я потом говорил с ним об этом и сказал, что он не выполнил своего долга, что ему следовало подняться на высоту его и сказать канакам откровенно, что Кэз проклят, осужден на вечную муку, и о счастливом избавлении от него. Но я никак не мог добиться, чтобы он думал по-моему. Канаки устроили носилки из жердей и донесли меня на них до самого дома. Мистер Терльтон привел в порядок мою ногу и сделал из нее настоящую миссионерскую веревку, так что я и до сего дня хромаю. Сделав это, он взял свидетельские показания у меня, Умэ и Миа, все их аккуратно записал, дал нам подписать, а затем пошел со старшинами к папа Рендолю захватить бумаги Кэза.

Они нашли только дневник, который он вел долгие годы, все больше насчет цен на копру, украденных цыплят и прочее, затем торговые книги и завещание, о котором я говорил в начале рассказа. По книгам и по завещанию все имущество, весь магазин и товар оказались принадлежащими самоанке, и я все это купил у нее за очень сходную цену, потому что она спешила уехать на родину. Что касается Рендоля и негра, им пришлось убраться. Они поселились около Папа-малулу и приобрели себе нечто вроде торговой станции, но дела у них шли скверно, так как ни один из этой пары не годился для дела, и пробавлялись они большей частью рыбной ловлей, которая была главной причиной смерти Рендоля.

Раз как-то шла большая стая рыбы, и папа отправился за ней с динамитом. Фитиль ли сгорел очень скоро, или папа был пьян, или то и другое, но коробку взорвало раньше, чем он успел ее бросить, и руки папа как не бывало. В этом большой беды нет – острова к северу полны одноруких, вроде действующих лиц «Арабских Ночей», но или Рендоль был чересчур стар, или пил уж очень много, одним словом, он от этого умер. Вскоре после того негра выгнали с острова за воровство у белых, и он уехал на запад, где встретил одноцветных с ним людей, а люди одного с ним цвета взяли да и съели его, как укрепляющее средство, и я уверен, я надеюсь, что он пришелся им по вкусу.

Итак, я остался один во всем своем величии на Фалеза, и когда приехала шхуна, я нагрузил ее вышиною чуть не в полдома. Надо сказать, что мистер Терльтон очень честно поступил с нами, но зато потребовал порядочного воздаяния.

– Ну, мистер Уильтшайр, – сказал он, – я все вам тут устроил, помирил вас со всеми. Это не трудно было сделать, раз Кэз умер; но я все-таки устроил и, кроме того, поручился, что вы будете честно относиться к туземцам, и попрошу вас сдержать данное за вас слово.

И я сдержал его. Смущали меня, бывало, мои весы. Я рассуждал так: «У всех торговцев весы несколько оригинальные, но туземцы, зная это, подмачивают свою копру настолько, что в общем выходит правильно». По правде сказать, мне это все же было неприятно, и, несмотря на то, что дела в Фалеза шли хорошо, я обрадовался, когда фирма перевела меня на другую станцию, где я не был связан никакого рода обязательством и мог смело стоять перед своими весами.

Что касается моей супруги, вы ее знаете, так же как и я. У нее есть только один недостаток: если входя в дом не помолитесь, она убежит прочь. Положим, это в характере канаков. Она превратилась в могучую крупную женщину и могла бы швырнуть через плечо какого-нибудь

лондонского шута. Впрочем, и это естественно в канаках, и нет никакого сомнения, что она – жена первый сорт.

Мистер Терльтон уехал на родину, его срок кончился. Он был самым лучшим из миссионеров, с которыми мне приходилось когда-либо сталкиваться. Теперь он, кажется, священничествует в Соммерсете. Это для него самое лучшее, там у него нет канаков, с которыми надо возиться.

Моя гостиница? И в помине нет ничего подобного. Мне, видите ли, не хотелось бросать ребятишек, а тут и говорить нечего, им было гораздо лучше, чем в стране белолицых, хотя Бен увез старшего в Ауклэнд, где он учится как нельзя лучше. Кто меня смущает, так это девочки. Они конечно только полукровные. Я знаю это так же хорошо, как и вы, и никто не может быть более низкого мнения о полукровных, чем я; но они мои, и мне приходится о них заботиться. Не могу никак примириться с мыслью выдать их за канаков, а хотелось бы знать, где я им найду белых?